№11 (633) · 1969

РОМАН-ГАЗЕТА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

БЛОКАДА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

Когда началась Великая Отечественная война, двадцативосьмилетний литератор — прозаик и журналист — Александр Борисович Чаковский сразу же отправился на фронт в качестве военного корреспондента. Он служил в войсках Волховского фронта, побывал в осажденном Ленинграде, воочию видел ту самую блокаду великого города, которой он посвящает свой новый роман.

Тема сражающегося Ленинграда отнюдь не впервые возникает в творчестве А. Чаковского. Еще в 1944 году писатель создал повесть „Это было в Ленинграде", которая затем — вместе с книгами „Лида" и „Мирные дни" — составила трилогию о легендарном ратном и трудовом подвиге ленинградцев.

Как и многие советские писатели, Александр Чаковский проявляет живой, творческий интерес к героическим темам и к людям, самоотверженно преданным высоким идеалам. Художника особенно интересуют социальные и нравственные источники героического. Об этом говорят как его первые книги, так и написанные в более поздние годы романы и повести „У нас уже утро", „Год жизни", „Дороги, которые мы выбираем", „Свет далекой звезды", „Невеста" и другие. Все эти произведения затрагивают острые проблемы жизни нашего общества, все они проникнуты пристальным вниманием к духовному миру героев.

Роман „Блокада", первая книга которого предлагается читателям, произведение, потребовавшее серьезных исторических разысканий. Автором использован и осмыслен большой фактический материал. В первой книге романа художник показывает советский народ накануне величайшего военного испытания, изображает лагерь наших злейших врагов — гитлеровцев. Мы видим, как в черном логове фашизма — гитлеровском Бергхофе, имперской канцелярии фюрера, военных штабах его готовилась агрессия, унесшая миллионы человеческих жизней. С другой стороны, мы видим, как советские люди закрепляли достижения социализма, как трудились наши партийные работники, как боролись за мир советские дипломаты, как перестраивали армию после зимних боев на Карельском перешейке в 1939—1940 гг. наши военные. Обо всем этом написано с большим знанием материала, с верным его пониманием.

На страницах первой книги романа повествуется и о начале войны, о преступном гитлеровском нападении на Советский Союз. Писатель создает убедительную картину мужества миллионов советских людей, в едином порыве вставших на защиту родины и с честью выдержавших под руководством своей партии труднейший исторический экзамен.

Автор обращает внимание читателей на то, что уже с первого часа этой войны было ясно, что она идет не на жизнь, а на смерть, что это столкновение непримиримых сил — света и тьмы, правды и лжи, высоких убеждений и низменных целей, благородного патриотизма и грязного шовинизма, идейности подлинной и идейности мнимой. Эти разительные контрасты даны в романе не только в той общей картине, которую рисует писатель, но и в столь полярных образах советского майора Звягинцева и гитлеровского майора Данвица.

Книги А. Чаковского обычно отличает подчеркнутое внимание к сюжетному и композиционному мастерству. Следует отметить своеобразное строение романа „Блокада": художник как бы монтирует „длинные куски" сюжета, действие перебрасывается из Берлина, из гитлеровского Бергхофа в Ленинград, из тихого городка Белокаменска в Москву, в рабочий кабинет Сталина, из укрепрайона за Выборгом в штаб Ленинградского военного округа, из рабочего кабинета майора Звягинцева в рабочий кабинет члена Военного совета Ленинградского фронта А. А. Жданова.

По своей природе талант А. Чаковского тяготеет к публицистичности. В повествование нередко врывается авторский голос, комментирующий течение событий и отдельные эпизоды. В „Блокаде" часто идет обмен мнениями, ведется дискуссия по острым социально-нравственным проблемам. Советские люди в произведении не случайно так заинтересованно, так увлеченно и содержательно обсуждают жизненно важные идеологические вопросы, — это выражает их сущность, творческих, думающих, ответственных за свои дела и поступки людей.

Писатель взялся за темы большого масштаба и большого значения. О первой книге его нового романа можно сказать, что она нужна, остро актуальна. В наше время, когда „традиций" битых гитлеровцев подхватывают их „наследники" то в США, то в ФРГ и иные неудачливые „вояки", никому не следует забывать, почему и как советский народ одержал свою великую победу над фашизмом и принес мир человечеству.

АЛЕКСАНДР ДЫМШИЦ

РОМАН-ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В 1927 г.
№ 11 (633)
1969
ИХЛ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

БЛОКАДА

РОМАН

КНИГА ПЕРВАЯ

I

— Ну а теперь скажи: как ты решился? Как?!

Они сидели в маленьком номере гостиницы «Москва», куда Звягинцева только что переселили. Из Кремля Звягинцев возвращался вместе с Королевым, и жили они вот уже пять дней вместе, то есть в одной гостинице и на одном этаже, только полковник Королев — в отдельном номере, а майор Звягинцев — в общежитии на пять коек.

Однако сегодня, когда они проходили мимо дежурной по этажу и Королев взял ключ от своей комнаты, а Звягинцев уже сделал несколько шагов по коридору, полагая, что у них в номере наверняка кто-нибудь есть, он был остановлен голосом дежурной.

— А вас переселили, товарищ командир, — сказала ему дежурная, невысокая, пожилая блондинка с очень бледным лицом альбиноски и ярко накрашенными губами. — И вещи ваши уже перенесли. Чемоданчик. В отдельный номер!

— Вы это мне? — недоуменно переспросил Звягинцев. — Но ведь мы сегодня вечером уезжаем. «Стрелой».

— Не знаю, не знаю, распоряжение дирекции. — Она протянула Звягинцеву ключ, многозначительно улыбаясь, так, точно желая дать понять, что говорит далеко не все, что знает.

— Здóрово! — усмехнулся Королев. — Четко работают! А ну, давай, майор, пойдем, покажи свои новые владения.

— Зачем же это? — недоуменно поднял брови Звягинцев, когда они вошли в номер — маленькую комнату, в которой тем не менее умещалось много мебели: письменный стол, два кресла, кровать, застеленная голубым покрывалом, другой стол — маленький, круглый, стоящий посредине комнаты под свисающим с потолка ярко-синим матерчатым абажуром.

Полуоткрытая дверь вела в ванную.

— Чего же я тут буду делать? — растерянно озираясь, сказал Звягинцев. — Ведь через три часа...

Он отвернул рукав гимнастерки и посмотрел на часы.

— Что делать? — переспросил Королев. — Ха! Это ты меня спроси. Я знаю.

Он решительно подошел к письменному столу, снял трубку телефона и, набрав на диске три номера, сказал:

— Ресторан? Значит, так...

...И вот они сидят за круглым полированным столом. Официант только что принес на большом подносе заказанный Королевым ужин — бифштексы, прикрытые, чтобы не остыли, опрокинутыми глубокими тарелками, картошку в металлическом судке, селедку, обложенную кольчиками лука, бутылку коньяку, рюмки — и, расставив все это на столе, ушел.

— А теперь вот что, — сказал Королев, усаживаясь и вытягивая под столом ноги в до блеска начищенных, плотно облегающих икры сапогах, — и есть не буду, и пить не буду. И тебе не дам. Пока не скажешь. Как же ты решился? Ну, давай, давай! Рассказывай!

Звягинцев пожал плечами и смущенно улыбнулся:

— Послал записку в президиум. Не был даже уверен, что дойдет... Вот и все.

— Ну знаешь!..

Королев недоуменно развел руками, потом взял бутылку, пошарил взглядом по столу в поисках штопора. Не нашел, зажал бутылку в своем большом кулаке, энергично покрутил ее, пока жидкость фонтанчиком не устремилась в горлышко, и резким ударом ладони о дно бутылки вышиб пробку.

— Сильнò, — снова улыбнулся Звягинцев.

— А у меня батька извозчиком был. Гужевым транспортом владел в одну лошадиную силу. Так он с пробочником обращаться не умел. А ведь раньше бутылки настоящими пробками затыкали. Так что я с детства этот университет прошел.

Он налил коньяк в рюмки, посмотрел на Звягинцева, недоверчиво покачал головой и усмехнулся.

— Значит, говоришь, записку? Вынул блокнотик, черкнул пару слов, и все?

Звягинцев молчал.

— Но хоть кто ты есть — написал? — не унимался Королев. — Может, тебя за какого генерала приняли? Звание-то, звание свое указал?

— Давай выпьем, что ли, Павел Максимович, — сказал Звягинцев, внезапно почувствовав неимоверную усталость, и потянулся к рюмке.

— Нет, погоди! — воскликнул Королев и, быстро протянув руку, накрыл рюмку Звягинцева своей широкой ладонью. — Хочу уяснить. Ну скажи мне кто-нибудь, что Алешка Звягинцев первый в атаку кинулся, — поверю. Мину неизвестной конструкции собственноручно разрядил... Допускаю, вполне возможно. Но тут... Елки зеленые! Сталин! Нарком! Маршалы! Генералы кругом. И вдруг: «Слово предоставляется товарищу Звягинцеву, Ленинградский военный округ!» Я сначала и не понял: как будто все свое окружное начальство знаю, что, мол, еще за Звягинцев такой! Гляжу — мать рóдная — его превосходительство Алексей Васильевич по проходу шагает... Слушай, вот тебе слово мое даю, если бы я в то время стоял, а не сидел, — ноги бы от страха за тебя подкосились!

Королев снова развел руками, потом тряхнул своей тяжелой головой и сказал:

— Ладно. Пьем! Поздравляю! Нет, погоди! — спохватился он и снова прикрыл рюмку Звягинцева ладонью. — Сначала самое главное. Что тебя товарищ Сталин спросил?

— Ты же слышал.

— Слышал, слышал! Тут от одного факта, что лично его слова слушаешь, голову потеряешь. Всех ораторов записывал, а тут пропустил. Вот погоди...

И Королев, повернувшись вместе со стулом, потянулся к своему планшету, лежащему на письменном столе, вытащил большой блокнот и стал перелистывать его, приговаривая:

— Так... Мерецков... Грендаль... Кузнецов... А где же ты-то у меня? А ведь я тебя пропустил, майор! Ей-богу, пропустил! Так за тебя переживал, что и не записал. Ну, это потом. А сейчас ты мне реплику товарища Сталина повтори. Ну? Только давай слово в слово.

И Королев вытащил вечную ручку из нагрудного кармана гимнастерки, отвинтил колпачок и, встряхнув ручку прямо над ковром, приготовился писать.

— Слово в слово не помню, — сказал Звягинцев.

— То, что Сталин сказал, не помнишь? — недоверчиво, с искренним недоумением переспросил Королев.

— Слово в слово не помню, — тихо повторил Звягинцев. — Я ведь тоже очень волновался... Погоди. Я, кажется, сказал, что у нас не хватало техники, чтобы...

— Я тебя не про то, что ты говорил, спрашиваю, — сердито прервал его Королев, — я слова Иосифа Виссарионовича записать хочу!

— Но я же об этом и говорю, — с неожиданным для самого себя раздражением сказал Звягинцев. — Когда я обо всем этом рассказал, он прервал меня и спросил: «А скажите, вы считаете, что инженерные части должны обладать...»

— Да не торопись ты! — с отчаянием воскликнул Королев. — Что я тебé, стенографистка, что ли! Давай медленнее.

Он локтем отодвинул в сторону тарелку с бифштексом, положил перед собой блокнот и приготовился писать.

— «А скажите...» — сосредоточенно водя пером по бумаге, повторил Королев.

— Я не уверен, что он произнес именно эти слова, — прервал его Звягинцев. — И дело, мне кажется, не в букве, а в смысле того, что было сказано.

— Та-та-та-та! «В смысле», видите ли! — передразнил его Королев и уже с обидой в голосе продолжал: — Ну конечно, чего там майору Звягинцеву с каким-то полковником Королевым возиться! Его сам товарищ Сталин слушал, не

говоря уже о разных маршалах и генералах! — Он нахмурил свои густые, чуть тронутые сединой брови и добавил уже иным, холодно-назидательным тоном: — А только меня воспитывали так, чтобы слова товарища Сталина цитировать точно. Не знаю, как другие, а только я...

— Павел Максимович, ну зачем ты так... — снова прервал Звягинцев, чувствуя, что все его раздражение прошло, и внутренне сам удивляясь, как это, в самом деле, он мог забыть слова, сказанные Сталиным, — не смысл вопроса, нет, это он помнил отлично, но сами слова.

Звягинцев попытался сосредоточиться, вспомнить и снова всем существом своим, всеми мыслями перенесся туда, где провел последние четыре дня...

О том, что в Москве созывается ответственное совещание, посвященное итогам совсем недавно закончившейся войны с Финляндией, Звягинцеву стало известно еще две недели назад. Об этом ему сказал начальник инженерного управления округа, когда приказал подготовить материалы о действиях инженерных войск и в случае необходимости выехать с ними в Москву.

Это было вечером, перед самым концом рабочего дня.

Звягинцев вышел из здания штаба на площади Урицкого, бывшей Дворцовой, и пошел пешком по проспекту 25 Октября, который все по старой привычке называли Невским, до Литейного, чтобы там сесть на автобус. Звягинцев совершал этот путь каждый день, возвращаясь с работы. Каждый день, с тех пор как кончилась советско-финская война и он вернулся домой, в Ленинград, хотя раньше, до войны, он экономил время и, возвращаясь с работы, садился в автобус уже в самом начале Невского, на углу улицы Гоголя.

За время войны Звягинцеву удалось только один раз побывать в городе, и он поразил его. Вернувшись на короткое время с фронта в штаб, он впервые увидел город погруженным во мрак. Ночная темень там, среди сугробов на Карельском перешейке, разрываемая лишь призрачными огнями сигнальных ракет, казалась естественной, несмотря на грохот артиллерийских разрывов и мягкий свист снайперских пуль — точно умелая мальчишеская рука бросает в воду плоские камешки.

Но тут все воспринималось иначе. Здесь не стреляли, не было снежных сугробов, но вид огромного города, который, сколько помнил себя Звягинцев, каждый вечер загорался десятками тысяч огней, а теперь стоял погруженный во тьму, производил тяжелое, давящее впечатление.

И не только на него одного. Все ленинградцы пережили финскую войну гораздо острее, чем остальные советские люди. Впервые со времен революционных боев и последующей разрухи город погрузился во тьму: ожидали налетов финской авиации. В госпитали и больницы стали привозить раненых и обмороженных людей.

...Хотя прошли уже недели после того, как кончилась война, Звягинцеву все еще доставляло огромное удовольствие пройтись по Невскому, снова сияющему огнями фонарей, окон и витрин, радуясь ощущению, что все по-старому и что привычный его мир незыблем.

Случилось так, что Звягинцев, один из командиров управления инженерных войск округа, стал в военные месяцы одним из непосредственных помощников начальника управления. Его предшественник уже на второй день войны получил тяжелое осколочное ранение в голову, когда инспектировал передовую линию укреплений.

По опыту своему — ему было всего двадцать восемь лет, и он только два года назад окончил военно-инженерную академию — Звягинцев, казалось, для такой высокой должности не подходил. И тем не менее он оказался на месте. К тому же Звягинцева любили. Два раза подряд его, так же как и полковника Королева, избирали в бюро партийной организации штаба округа.

И вот теперь, получив приказание готовить материалы для предстоящего совещания в Москве, Звягинцев медленно шел по Невскому в толпе гуляющих. Навстречу ему и обгоняя его, спешили девушки в беретах, последние годы вошедших в моду, в длинных, узких юбках и в туфлях на низком каблуке, юноши, тоже в соответствии с установившейся в последнее время модой, в серых фланелевых брюках и темных, суженных в талии пиджаках, в голубых рубашках с длинными, острыми углами воротников и в галстуках, повязанных широким, квадратным узлом. На каждом углу продавались цветы. У знаменитого кафе «Норд» стояла небольшая очередь... Все это было так знакомо Звягинцеву, так привычно радовало глаз, что воспоминания о недавней короткой, но кровопролитной, в чем-то серьезно нарушившей привычный ход мыслей войне как-то тускнели и расплывались.

...Что ему предстоит тоже ехать в Москву, Звягинцев узнал всего за два дня до отъезда.

Все остальное произошло быстро и не оставляло времени для размышлений.

Рано утром автобусы доставили приехавших в «стреле» ленинградских армейцев и моряков в гостиницу «Москва», где для каждого из них, в соответствии со званием и должностью, были уже приготовлены номера и общежития, они успели только поставить свои чемоданы, наскоро побриться и отправились в Кремль. От гостиницы до Спасских ворот было рукой подать — только перейти Красную площадь, но в комендатуре у окошка, где выдавались пропус-

ка, пришлось задержаться: слишком много было народа.

Однако в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца все попали вовремя, и только здесь, в зале, очутившись среди высших командиров Красной Армии и Флота, командующих и начальников различных родов войск, пехотинцев, артиллеристов, летчиков и моряков, Звягинцев понял, куда он так нежданно-негаданно попал.

На совещании присутствовал Сталин.

Когда он появился из боковой двери президиума и, сопровождаемый идущими на два-три шага позади маршалами и генералами, пошел вдоль длинного, покрытого красным сукном стола, все в зале встали со своих мест, и грохот аплодисментов слился со стуком откинувшихся сидений.

Но председательское место занял не он, а Ворошилов. Рядом сел Маршал Советского Союза Тимошенко.

Сталин же, с которого не сводил глаз Звягинцев, сел сбоку в одном из дальних рядов президиума, но уже через несколько минут вынул из кармана трубку, встал и начал медленно прохаживаться за спинами сидящих в президиуме людей. В сером, так хорошо известном по портретам кителе, в прямых, невоенного покроя брюках, заправленных в сапоги, с трубкой в полусогнутой руке, он бесшумно передвигался взад и вперед, иногда присаживаясь на свое дальнее место в ряду — разумеется, его никто не занимал — и снова вставая, чтобы продолжить свое медленное и тихое хождение.

Время от времени Сталин останавливал выступающих, задавая им вопросы или бросая короткие реплики.

В зале стояла тишина, но когда Сталин замедлял свой и без того медленный бесшумный шаг и пристально смотрел на оратора или слегка приподнимал руку с зажатой в кулаке трубкой, тишина становилась еще ощутимее, потому что все понимали: он хочет что-то сказать. И тогда тот, кто стоял на трибуне, невольно умолкал и оборачивался в сторону Сталина.

Совещание длилось несколько дней. С первого же дня оно приобрело острый дискуссионный характер. Один за другим поднимались на трибуну военачальники, чьи имена были хорошо известны Звягинцеву, чьи лица он знал по портретам. Все выступавшие единодушно отмечали, что Красная Армия имеет надежное вооружение. И тем не менее, утверждали ораторы, личный состав армии, особенно пехоты, знает военную технику недостаточно и не умеет ее использовать в зимних условиях. Почти все говорили о том, что северо-западный и северный театры военных действий были плохо подготовлены к операциям, о нехватке минометов и лыж, которыми в большом количестве обладали финны, о ненадежности радиотехнических средств связи и управления, о неудобстве нашего зимнего обмундирования...

Если бы в эти минуты кто-нибудь посоветовал Звягинцеву подняться на трибуну и выступить, то он воспринял бы это так, точно ему предложили прыгнуть с самолета без парашюта.

Почему же он все-таки решился? Как все это случилось?..

А произошло это так.

То ли кому-то из военного руководства показалось, что совещание приняло слишком острый, критический характер, то ли просто некоторые из военачальников почувствовали, что их самолюбию, престижу может быть нанесен слишком сильный удар, но, так или иначе, в предпоследний день совещания Звягинцев ощутил в речах кое-кого из ораторов новый, несвойственный предыдущим выступлениям успокоенный тон.

Один из маршалов всю свою речь посвятил силе и доблести Красной Армии, прорвавшей неприступную линию Маннергейма, при этом не было сказано ни слова о том, какой ценой достался нам этот прорыв.

«Зачем он об этом здесь, на таком совещании?!» — с горечью спрашивал себя Звягинцев. Разумеется, он, всю войну проведший в войсках, не хуже других знал и о неприступности линии Маннергейма, самом сильном укреплении из тех, которые доселе были известны, и об отваге штурмовавших эту линию красноармейцев.

И когда об этом писали в газетах, Звягинцев принимал все слова как должные.

Но здесь, на таком совещании, в присутствии самого Сталина, который должен знать полную правду об этой войне...

Внезапно Звягинцеву показалось, что он снова там, на Карельском, и тогда все, все опять встало перед его глазами: снежные сугробы, застрявшие в них орудия, разбитые танки, обмороженные люди, затемненный Ленинград... В ушах засвистел ветер, и он уже не слышал ничего, кроме этого ветра, пулеметных очередей и взвизгивания снайперских пуль. А потом все исчезло, все, кроме белого листка блокнота, лежащего перед ним на пюпитре.

И тогда, сам еще не сознавая, что делает, почти автоматически Звягинцев написал на этом листке: «Прошу слова», звание свое и фамилию, вырвал листок и чисто механическим жестом дотронулся до плеча сидящего перед ним бритоголового генерала.

Тот чуть повернулся, скосил на Звягинцева уголок глаза и протянул из-за плеча руку с растопыренными пальцами. И Звягинцев сунул в генеральскую ладонь сложенную вчетверо записку.

Ощущение реальности всего происшедшего пришло к Звягинцеву минутой позже. Он понял, что совершил теперь уже непоправимую глупость: в отличие от большинства ораторов, не подготовившись, без написанного заранее

текста, на таком — таком! — собрании попросил слова.

Его следующей мыслью было: задержать записку, не дать ей дойти до президиума, вернуть, изорвать на мелкие клочки. Звягинцев даже приподнялся, вглядываясь в спины сидящих перед ним людей, стараясь по их движениям определить, кто именно и кому передает в данный момент этот злосчастный листок. Но тщетно! Казалось, что все люди в передних рядах сидят не шелохнувшись или сосредоточенно делают записи в своих блокнотах.

Тогда Звягинцев стал утешать себя надеждой, что записка его, путешествуя по рядам, затерялась, что кто-то, поглощенный речью очередного оратора, отложил ее, забыл передать дальше или просто уронил.

Звягинцев перевел свой взгляд туда, к президиуму, точнее, к едва различимому с того места, где он сидел, ящику для записок, стоящему на маленьком столике. Но как будто никто из первых рядов не выходил к этому столику.

И когда высокий, подтянутый, с хорошей строевой выправкой военный, в очередной раз появившись откуда-то сбоку, подошел к столику и опустил руку в ящик, чтобы вынуть накопившиеся записки и передать их в президиум, Звягинцев почти успокоился: он был уверен, что его записки в ящике не было.

Чисто механически он стал наблюдать за военным. Тот легким шагом, держа перед собой вытянутую руку с записками, поднялся по лесенке, ведущей в президиум, сделал несколько шагов, обходя ряды и, видимо, желая пробраться к председательствующему на этот раз Тимошенко, но увидел идущего прямо на него Сталина, поспешно, совсем по-граждански повернулся, потом побежал назад и, положив записки перед сидевшим у самого края стола генералом, сбежал по лесенке вниз и исчез. Генерал, не читая, аккуратно сложил записки в стопку и передал соседу — тоже генералу, хорошо известному по портретам. Так, путешествуя по ряду, они дошли до Тимошенко.

«А вдруг... и моя там? — снова с тревогой подумал Звягинцев. — А что, если я не заметил...»

«А, ерунда!» — успокоил он себя. Если даже предположить, что записка дойдет или уже дошла до президиума, ему все равно не дадут слова. Кто он такой, кому он известен? Да и совещание, по слухам, вообще должно завтра закончиться. И говорят, что еще предстоит выступление самого Сталина...

Звягинцеву дали слово на вечернем заседании. В первую секунду после того, как председательствующий объявил его фамилию, Звягинцев не двинулся с места. Он понял, что ведет себя нелепо, глупо, лишь после того как в зале началось легкое движение и люди стали оборачиваться и поглядывать по сторонам в поисках объявленного оратора.

И тогда Звягинцев вскочил и быстрым шагом, чуть ли не бегом направился по проходу к той далекой и страшной лесенке, ведущей в президиум.

...Он не помнил, как говорил, но хорошо помнил — о чем. Без подготовленного текста, даже без конспекта Звягинцев произнес вслух то, о чем думал во время задевшего его выступления маршала на утреннем заседании. В эти минуты он не видел перед собой людей, забыл и о тех, кто сидел за его спиной, — о маршалах и генералах, рядом с которыми он в обычное время не мог бы представить себя даже мысленно.

Звягинцев говорил о том, что совсем недавно испытал сам, о чем столько раз было уже переговорено с друзьями, о том, что финны, создав предполье перед главной полосой обороны и разрушая за собой все мосты и дороги, обеспечили себе возможность более упорного сопротивления на этом участке, ведя бои на промежуточных рубежах. И преодолеть их сопротивление в короткие сроки можно было, только имея полноценное и правильно распределенное техническое обеспечение...

— А у нас его не было, не было! — со страстью и горечью произносил Звягинцев. — Каждый метр преодоленного пути, каждую заколоченную под снайперским огнем противника сваю, каждый пролет наведенного моста нам приходилось оплачивать большой кровью... Мы не жалуемся, нет, — еще более волнуясь, продолжал Звягинцев, — мы знаем, что война — это и кровь и лишения. Но если бы мы имели достаточно инженерной техники, имели бы по-настоящему подвижные саперные части, тогда...

И в этот момент Звягинцева прервал Сталин. Звягинцев не видел Сталина и не догадался, что тот хочет что-то сказать. Поэтому, несмотря на то что весь зал видел, как Сталин подошел к дальнему торцу стола президиума, чуть выступив на авансцену, и плавным движением приподнял перед собой руку с зажатой в кулаке трубкой, как делал тогда, когда хотел обратиться к оратору, — Звягинцев тем не менее продолжал свою речь. Более того, даже заметив, что все взоры, все внимание зала переместилось куда-то в сторону, даже сообразив наконец, что Сталин хочет что-то сказать, Звягинцев все же говорил, не умолкая.

Он просто испугался, что ему не дадут высказать того главного, ради чего он поднялся на эту трибуну, и продолжал говорить все быстрее и быстрее.

Он умолк только тогда, когда отчетливо увидел, что все, кто был в зале, повернули головы влево, к Сталину. Тогда наконец Звягинцев понял всю бестактность своего поведения, почувствовал, как загорелось его лицо, и остановился на полуслове, так и не закончив начатую мысль.

И тут он услышал тихий, лишенный каких-либо интонаций голос Сталина:

— А скажите, товарищ Звягинцев, вы, следовательно, считаете, что инженерные войска должны обладать техникой такой же подвижности, как и все остальные рода войск? Мы вас правильно поняли?

Несколько мгновений Звягинцев молчал. Он был настолько смущен, ошарашен обращением к нему Сталина, что даже не вник в сущность его вопроса. Ему показалось, что Сталин намеревается еще что-то сказать и ему, Звягинцеву, теперь надлежит молчать. Молчать и слушать.

Но уже очень скоро по напряженной тишине в зале, по лицам людей, снова обративших на него свои взоры, он понял, что надо отвечать, немедленно отвечать.

«Что же он меня спросил? Что?!» — мысленно и с отчаянием старался вспомнить Звягинцев. — Ах да, ну конечно, подвижность инженерных войск!» — в следующую же секунду повторил он про себя.

И тогда очень громко сказал:

— Конечно, товарищ Сталин, именно так!

И поспешно добавил, как бы беспокоясь, что Сталин не поймет смысла его ответа:

— Ведь только в этом случае мы сможем обеспечить быстрое движение другим родам войск, особенно танкам и артиллерии.

Сталин сделал движение рукой с зажатой в ней трубкой, которое могло означать все, что угодно, в том числе и то, что он разделяет точку зрения Звягинцева. Но тому показалось, что Сталин все же не понял его.

И тогда, боясь, что сейчас Сталин скажет нечто такое, что опровергнет его мысль, откинет ее как нечто несущественное, Звягинцев стал торопливо и сбивчиво говорить о том, что происходит на поле боя, когда танки и бронемашины уходят вперед, а потом беспомощно останавливаются перед взорванными мостами, надолбами и противотанковыми рвами, потому что нет саперов, потому что они остались где-то далеко позади или у них нет механизмов для скоростных работ...

Он очнулся, только уже сидя на своем месте. Не помнил, как кончил свою речь, как шел по проходу к своему дальнему ряду.

На трибуне стоял уже другой оратор, генерал, фамилию которого Звягинцев не расслышал, да он и вообще ничего не слышал и не видел, будучи весь под впечатлением всего происшедшего и еще не чувствуя того огромного облегчения, которое пришло несколькими минутами позже.

На следующий день утром выступил Сталин.

...И вот теперь, сидя в номере, куда его так неожиданно перевели и который фактически был ему уже не нужен, слушая настойчивые вопросы своего сослуживца по штабу округа, полковника Королева, Звягинцев снова и снова пытался восстановить в своей памяти то, что сказал Сталин, — не ту реплику, нет, а всю речь.

Он не записывал ее, как это делали все соседи по ряду. Сам факт, что он, Звягинцев, непосредственно слушает Сталина, захватил его целиком. Он только слушал и смотрел на Сталина, стараясь не пропустить не только ни одного его слова, но запомнить все: облик, движение руки, манеру говорить...

Но было и нечто другое, что мешало Звягинцеву записывать речь.

Дело заключалось в том, что уже после первых произнесенных Сталиным фраз — и чем дальше, тем больше, сильнее, — Звягинцев ощутил, что за всем тем, что Сталин произносил вслух, кроется какая-то главная, еще не высказанная мысль, какой-то скрытый подтекст.

Звягинцев понял его не сразу.

Сталин говорил о том, что еще предстоит сделать для улучшения боевой подготовки командного, особенно младшего, состава армии, о дисциплине, политической работе, об усилении минометного вооружения, о взаимодействии родов войск, о том, что культ традиций и опыта гражданской войны помешал нашему командному составу быстро перестроиться на новый лад, перейти на рельсы современной войны, и многое другое, чего Звягинцев сейчас не мог вспомнить. Да, он говорил и о финской войне, и все примеры его, все факты, на которые ссылался, были взяты из практики недавних боев.

И все же за всем тем, что говорил Сталин, — Звягинцев хорошо ощутил это — стояла какая-то прямо не высказанная, но главная, тревожная мысль. И когда она, та мысль, дошла наконец до Звягинцева, все его внимание сосредоточилось именно на ней, на этой главной мысли, которая, точно подводная лодка, то чуть всплывала над поверхностью, то уходила вглубь.

И теперь уже у Звягинцева не было сомнений в том, что, говоря о финской кампании, Сталин все время думал о другой, несравненно более опасной, несравнимой по масштабам решающей битве, которая нам предстоит и о которой все эти годы неотступно размышлял каждый военный человек: о неизбежности войны с гитлеровской Германией. Мысль об этом сквозила в речи Сталина уже совсем очевидно, когда он стал говорить о том, что гитлеровская военная машина во много раз сильнее финской.

Казалось, Сталин хочет, чтобы все присутствующие в этом зале, вся армия, весь народ поняли, что предстоит страшная, истребительная война, противоборство двух систем, двух непримиримых идеологий — коммунистической и фашистской.

Под впечатлением этой главной, решающей мысли находился сейчас Звягинцев, и от нее, сам того не сознавая, его настойчиво отвлекал Королев.

— Значит, не помнишь слов товарища Сталина? — снова спросил Королев. — Вроде бы склероз у тебя не по возрасту. Ну ладно, — он безнадежно махнул рукой, — придется у других спросить. Ну, так или иначе — поздравляю! Выпьем, что ли, по этому поводу?

Они выпили. Королев подхватил вилкой ломтик селедки и, похрустывая луком, продолжал:

— Конечно, если бы он в своей речи прямо тебя поддержал — считай себя завтра уже подполковником. Впрочем, и так — чем черт не шутит! На таком совещании слово дали, е г о, — он с ударением произнес это местоимение, — внимание привлек, шутка ли! Интенданты-то, видишь, четко сработали! — Он подмигнул и оглядел номер. — Есть и полковники, которых по двое расселили. А тут... словом, давай по второй!

Они снова выпили.

Королев расстегнул воротник гимнастерки, расслабил поясной ремень и, откинувшись на спинку стула, спросил:

— Ну а какой ты сделал вывод из его речи?

— Надо укреплять армию, — задумчиво ответил Звягинцев.

— Ну, это ясный факт, — нетерпеливо заметил Королев, — только я сейчас не об этом. Как полагаешь, перемены будут?

Звягинцев вопросительно поглядел на него.

— Ну что ты, маленький, что ли? — недовольно продолжал Королев. — Я наш округ имею в виду. Перемещения будут? Ну... и вообще. А? По-моему, неизбежно.

Он снова склонился над столом, деловито разлил коньяк по рюмкам и принялся за бифштекс.

— Я сделал иной вывод, — сказал Звягинцев. — По-моему, неизбежно другое. Придется воевать с Гитлером.

— О-то-то-то! — рассмеялся Королев, поднимая вилку с куском мяса. — Скажите, какой пророк! Конечно, придется! Рано или поздно. Это и ребенку ясно.

— Хорошо, если бы не рано... и не поздно, — тихо сказал Звягинцев.

Лицо Королева внезапно стало серьезным.

— Это ты, пожалуй, прав, — сказал Королев, расправляя складки на ставшем влажным белом подворотничке. — Сейчас, кажись бы, и рановато, а? Вот кой-какие выводы для себя сделаем, тогда пускай лезут. Ладно, — он махнул рукой, — давай мясо есть, остынет.

Он придвинулся поближе к столу и снова принялся за бифштекс. Некоторое время они ели молча. Королев шумно и с аппетитом, Звягинцев же нехотя ковырял вилкой жесткое мясо. Наконец он отодвинул тарелку.

Поведение Королева, его манера разговаривать раздражали Звягинцева. Он считал заместителя начальника штаба неглупым человеком и военным до мозга костей. Казалось, что он родился в сапогах и гимнастерке, — представить его себе в пиджаке и брюках навыпуск Звягинцев просто не мог. Вся сознательная жизнь Королева — это было хорошо известно работникам штаба — прошла в армии. И все его интересы, все его мысли были всегда связаны с армией. Звягинцев знал об этом. Но то, что Королев сейчас, после такого совещания, когда речь шла о делах, жизненно важных не только для армии, но и для всей страны, разговаривал с ним в такой подчеркнуто беспечной, даже фанфаронистой манере, раздражало Звягинцева. «Может быть, он так говорит со мной потому, что хочет, так сказать, поставить на место? — подумал он. — Боится, что зазнаюсь? Хочет подчеркнуть, что, хотя я и получил слово на таком ответственном совещании, для него, полковника, участника гражданской войны, все же остаюсь мальчишкой, из молодых да ранним?»

Эта мысль, разумеется, не только не успокоила Звягинцева, но еще больше распалила его.

— Не понимаю, Павел Максимович, — сказал он, — неужели именно в такую минуту у тебя разыгрался аппетит?

— А что? — грубовато переспросил Королев. — Для солдата подзаправиться — первое дело. Голодный солдат — не солдат, советую усвоить.

«Не хочет говорить всерьез, — с еще большей обидой подумал Звягинцев. — Шуточками отделывается. Полагает, что до серьезного разговора я еще не дорос».

И чем больше думал об этом Звягинцев, тем больше ему хотелось заставить Королева заговорить именно всерьез.

— Вот ты, Павел Максимович, сказал, что надо сделать для себя кое-какие выводы, — снова пошел в наступление Звягинцев, — но какие? Что ты имеешь в виду?

Королев на мгновение оторвал взгляд от тарелки, поднял голову и, как показалось Звягинцеву, поглядел на него с едва заметной, иронически-снисходительной усмешкой.

— Какие выводы? — переспросил он, пожимая своими широкими, плотно обтянутыми гимнастеркой плечами. — Так ведь ты эти выводы уже сам сделал! Придется воевать.

И хотя он произнес эти слова своим попрежнему иронически-беспечным тоном, явно противоречащим их смыслу, Звягинцев поспешно ухватился именно за их смысл.

— Вот-вот! — воскликнул он. — А мы?..

И он настороженно-вопросительно посмотрел на Королева.

Тот снова поднял голову. Они встретились взглядами. На этот раз Звягинцев не увидел на лице полковника ничего, что напоминало бы усмешку или даже улыбку.

— Что мы? — неожиданно хмуро и даже подозрительно переспросил Королев. — Все, что страна в состоянии дать армии, она ей дает.

— Павел Максимович, — решительно и с

обидой в голосе сказал Звягинцев, — ну зачем ты так?! Ведь ты же отлично понимаешь, про что я говорю! Если не хочешь удостоить меня серьезного разговора, тогда так и скажи.

Королев усмехнулся.

— У-до-стоить! — растягивая слоги, повторил он. — Вишь, слово-то какое придумал! Что я тебе — князь или фон-барон какой, чтобы у-до-стаивать?

— Но тогда зачем же ты уходишь от разговора? — с горячностью воскликнул Звягинцев.

— А я никуда не ухожу. Видишь, здесь сижу, перед тобой.

Плоскость этой остроты лишь подзадорила Звягинцева.

— Нет, уходишь! — с еще большей настойчивостью повторил он. — И это... неправильно! С кем же мне поговорить, как не с тобой! Ведь мы служим вместе, вместе были в Кремле, ведь товарищ Сталин и к нам с тобой обращался!.. Это же не могло не дать толчок мыслям! А ты...

— А что я? — по-бычьи наклонив голову, прервал его Королев. — Я, как видишь, сижу, слушаю, интересуюсь, в какую сторону твои мысли от толчка тронулись. Давай докладывай, философ.

Он произнес это слово с ироническим ударением на последнем слоге.

— При чем тут философия! Я хочу говорить о вещах сугубо практических, о таких, с которыми вся наша жизнь связана! И жизнь и долг! Ты что же, полагаешь, если я сапер, инженер, так мне дальше носа и видеть не положено? И если...

— Да хватит тебе оправдываться! — нетерпеливо прервал его Королев. — Говори, что хочешь сказать!

— Хорошо, я скажу, — взволнованно произнес Звягинцев. Он помолчал некоторое время, собираясь с мыслями. — Значит, война неизбежна. Так?

— Ну допустим, что так, — согласился Королев.

— Значит, она может начаться и завтра. Верно?

— Насчет «завтра», по-моему, загибаешь. Но теоретически — допустим. И что дальше?

— А дальше возникает неизбежный вопрос: готовы ли мы? Я, естественно, про наш округ говорю, об остальных не знаю и знать не могу. Да и в своем мне ближе всего инженерные войска, укрепления и все такое прочее. Вот мы сейчас итоги финской кампании подводим, верно? А ты уверен, что будущая война будет во всем похожа на финскую?

— Дураков нет так считать.

— Но ведь, судя по всему, кое-кто так считает! Как будто нам и в той войне надо будет повсюду линии Маннергейма прорывать!

— Не понимаю.

— Ах, ну как же ты не понимаешь! Ведь нам сейчас в округ только орудия крупных калибров и гонят! А зенитки? А противотанковые? Много ты их видел? А самолетов — ты полагаешь, их достаточно? Послушай, Павел Максимович, — понижая голос и наклоняясь над столом, сказал Звягинцев, — ты уверен, что мы с той установкой покончили?

— Какой еще установкой?

— Ну вот насчет того, чтобы только малой кровью и только на чужой территории?

— Вот что, Звягинцев, — сказал Королев, и в голосе его зазвучали новые, холодно-строгие интонации, — ты эту демагогию брось. Тебе, как штабному работнику и члену партбюро, отлично известно, что партия такую установку осудила как самоуспокаивающую. Так что болтовню прекрати! — неожиданно громко выкрикнул он и ударил по столу своей широкой ладонью.

Звягинцев посмотрел на него недоуменно и растерянно, стараясь сообразить, что могло вызвать у Королева такую вспышку гнева.

Но Королев молчал, только лицо его пошло красными пятнами.

— Не понимаю, чего ты сердишься, — нерешительно произнес Звягинцев, — я, кажется, не сказал ничего такого...

Он выжидающе смотрел на Королева, но тот молчал.

«Поразительный человек! — про себя усмехнулся Звягинцев. — Одно только критическое упоминание о какой-либо официальной установке способно привести его в ярость. Даже если эта установка столь же официально раскритикована».

Да, лозунг победы «малой кровью» немедленно, вслед за окончанием тяжелой и изнурительной финской кампании был осужден Центральным Комитетом как неправильный, ориентирующий армию на легкую победу. Но, внедрявшийся в течение долгих лет, он, естественно, не мог не оставить следа в сознании сотен тысяч бойцов и командиров Красной Армии. И ничего крамольного в том, что он, Звягинцев, напомнил об этом, высказал опасение, не было.

Однако на Королева слова эти произвели совершенно неожиданный для Звягинцева эффект. Он считал полковника человеком честным, неглупым, хотя и с хитрецой, прямым, хотя свято придерживающимся принципов военной субординации. Его реакция на, казалось бы, невинную критику недавно популярной в армии установки, ныне самой же партией осужденной, неприятно поразила Звягинцева.

А Королев все еще молчал, сосредоточенно и зло глядя на Звягинцева, и тому казалось, что полковник ищет слова, которые наиболее полно выразят его возмущение.

Но Звягинцев ошибался. Потому что в эти минуты молчания Королев думал совсем о другом. О том, чего в силу своего невысокого служебного положения не мог знать Звягинцев.

Полковник вспомнил, как несколько месяцев тому назад командующий и член Военного совета вызвали к себе руководящий состав штаба округа, чтобы информировать их о состоявшемся в Москве заседании Главного военного совета. Речь на заседании шла о плане военных действий против Финляндии, поскольку все попытки правительства разрешить мирным путем вопросы безопасности северо-западных рубежей страны не дали положительных результатов и вооруженные провокации финнов на границе продолжались.

Информация командующего была сухой и сжатой. Однако из нее было ясно, что план, разработанный под руководством начальника Генштаба маршала Шапошникова, был подвергнут резкой критике Сталиным. Шапошникову ставились в вину недооценка военной мощи Красной Армии и переоценка возможностей армии финской. Его план был отвергнут.

Но главное для Королева и всех присутствующих на совещании у командующего заключалось в том, что именно руководству Ленинградского военного округа и поручалось составить новый план финской кампании, а в основу его положить критику и замечания Главного военного совета.

В составлении этого плана, в основу которого и лег принцип воевать «малой кровью», то есть расчет на быстрый разгром врага ограниченными силами и без сосредоточения необходимых резервов, приняли участие десятки работников штаба округа, в том числе и Звягинцев.

Однако лишь немногие из них, и, уж конечно, не Звягинцев, знали о том, другом, отвергнутом плане.

Но Королев был среди этих немногих. И мысли его возвращались к нему не раз, когда читал фронтовые сводки, когда беседовал с прибывающими с Карельского перешейка обмороженными, надрывно кашляющими командирами. Он видел перед собой занесенные снегом дороги, по которым медленно, неся большие потери от артиллерии, снайперского огня и сорокаградусных морозов, продвигались части Красной Армии. И ему, Королеву, и другим руководителям штаба было уже ясно, что допущена серьезная ошибка, что, очевидно, тот, другой, отвергнутый в Москве план был более правильным. И все же он никогда не позволил бы себе признать это вслух...

Тот день, когда в Москве решили, что следует вернуться к старому плану, когда были подтянуты необходимые резервы и дополнительное вооружение и войска Северо-Западного фронта, созданного на базе Ленинградского военного округа, при поддержке флота и авиации смогли перейти в решительное наступление, — тот день был для Королева праздником.

Прорыв линии Маннергейма, предопределивший победу наших войск, помог ему изжить горечь первых бесконечных недель войны.

Он старался не вспоминать о прошлом, убеждая себя в том, что из событий сделаны все необходимые выводы.

...Но сейчас вопрос, задиристо поставленный Звягинцевым, этим юнцом, не знающим всего того, что пришлось молча пережить Королеву, привел его в ярость.

Он любил Звягинцева, считал его способным штабистом и смелым командиром, хотя с некоторой опаской относился к его горячности и склонности к рассуждениям. В этих случаях он грубовато-добродушно обрывал Звягинцева словами: «Ладно, не завихряйся!»

Но сейчас Королеву не удалось сдержать себя...

А Звягинцев, которого неожиданно больно поразил этот, казалось бы, необъяснимый взрыв ярости Королева, глядел на него и думал: «Неужели с ним нельзя поговорить по душам? Неужели каждый раз, когда я осмелюсь выйти за пределы субординации и рассуждать о делах, «не положенных» мне по чину, он всегда будет превращаться вот в такого бурбона-служителя?.. А ведь я о многом хотел поговорить с ним. Хотел спросить, считает ли он в свете того, что сегодня сказал Сталин, достаточными наши укрепления на Севере? И не собирается ли командование придвинуть поближе к границе полевые части? И можно ли надеяться, что в войска скоро поступят новые танки, эти Т-34, оснащенные замечательным вооружением и превосходной броней, опытные экземпляры которых мне однажды удалось видеть в частях».

...Теперь, после речи Сталина, судя по всему убежденного в неотвратимости грядущей войны, в мыслях Звягинцева роились десятки вопросов, в том числе и такие, которые раньше не приходили ему в голову. Он смотрел на все еще кипящего от негодования Королева и думал: «Ну хорошо. Ты старый, опытный военный. А много ли таких осталось в частях округа? Ведь кому-кому, а тебе-то хорошо известно, что почти две трети командиров дивизий и полков — это новые, не больше года работающие люди. Правда, они приобрели опыт финской войны. Но достаточно ли этого опыта для той, грядущей?..»

Звягинцев мысленно усмехнулся, представив себе, как реагировал бы Королев на подобные мысли, если бы они были высказаны вслух.

А Королев в то же самое время, постепенно овладевая собой, с горечью думал о том, каким странным и необъяснимым показался, наверное, Звягинцеву его неожиданный срыв.

Однако он ни за что, ни под каким предлогом не позволил бы себе объяснить его истинную причину. О том, что наши расчеты на быструю войну, на скорую капитуляцию финнов не оправдались, знали и понимали все те,

кто был на Карельском перешейке. Но они не знали и не должны были знать, что существовал другой план войны, и, возможно, будь он принят, мы могли бы победить скорее и с меньшими потерями. И не он, Королев, станет тем человеком, который посеет в душе Звягинцева малейшие сомнения в действиях высшего командования.

...Таковы были мысли этих двух человек, сидевших друг против друга за маленьким круглым столиком в ярко освещенном номере гостиницы «Москва» весной 1940 года.

Первым нарушил молчание Звягинцев.

— Ладно, Павел Максимович, — примирительно сказал он, — может, я действительно что не так сказал.

— То-то и оно, — буркнул Королев, понимая, что Звягинцев говорит сейчас не то, что думает, а он, Королев, — не то, что мог бы и хотел ответить. И добавил: — Давай жуй, а то остынет.

Но Звягинцев по-прежнему сидел неподвижно.

— Чего не ешь? Всё мысли обуревают? — уже в прежней своей иронически-снисходительной манере спросил Королев.

— Обуревают, — серьезно ответил Звягинцев. Он уже примирился с тем, что Королев не станет обсуждать вопросы, которые так или иначе, в самом ли деле или только в его воображении, могут задеть престиж высшего командования. Теперь майор думал о другом. Это «другое» так же, как и все волнующие его сейчас мысли, тоже было связано с грядущей войной. Но сейчас он размышлял о ней уже не как военный, а просто как человек, обыкновенный советский человек, со школьных лет убежденный в том, что нет ничего дороже и справедливее тех идеалов, которым посвящена жизнь миллионов его соотечественников.

— Послушай, Павел Максимович, — сказал Звягинцев, — а все-таки как это может быть?

— Что? — настороженно переспросил Королев.

— Ну вот... как бы тебе сказать... — Звягинцев поморщил лоб и пошевелил пальцами, точно пытаясь ухватить, сформулировать еще не окончательно созревшую в его мозгу мысль. — Ты, конечно, согласен, что идеи, которые исповедует Гитлер, — это подлые, гнусные идеи?

— Факт, — охотно согласился Королев, внутренне довольный, что разговор перешел на менее рискованную тему.

— Так неужели же немцы пойдут за них умирать? — спросил Звягинцев.

Королев встал. Он подтянул свой ослабленный ремень, застегнул воротник гимнастерки и спросил в упор:

— К чему клонишь, майор?

— Ни к чему. Я просто хочу понять: неужели миллионы людей готовы отдать жизнь за неправое дело?

— Сейчас, может быть, и готовы... — неожиданно задумчиво сказал Королев.

— Что значит «сейчас»? — нетерпеливо спросил Звягинцев.

— Вижу, что не понял, — с усмешкой произнес Королев, — а еще в психологи метишь. Ладно. Скажу яснее. Пока за спиной фашиста сила, он пойдет... И помереть может сгоряча. А идея настоящая чем измеряется? Сознательной готовностью жизнь за нее отдать. И не только когда на твоей стороне сила и не только сгоряча, а вот так, один на один со смертью. Коммунист может. А фашист на такое не способен.

— Полагаешь, что руки вверх поднимут?

— Нет, не полагаю. До поры до времени не поднимут. Будут переть и орать: «Хайль Гитлер!» А вот когда мы их поскребем до самых печенок, тогда все их идеи и кончатся.

— И тогда руки вверх?

— Нет. Еще нет. Страх останется. Животный страх: умирать-то никому не хочется. За жизнь борясь, можно и в глотку вцепиться. Только это уж будет не то. Последнее издыхание. И умирать будет фашист, как собака. Да и что фашисту перед смертью людям сказать? «Хайль»? Или «Да здравствует мировое господство!»? Не получается. Не звучит!.. Вот тебе и ответ на твой вопрос: не идеей Гитлер свои миллионы навербовал. Сладкую жизнь пообещал. Грабь другие народы и живи, наслаждайся!

— Но как же ему удалось?.. — упорно продолжал спрашивать Звягинцев.

— Да что ты, дурачишь меня, что ли, в самом-то деле! — воскликнул Королев. — Кто тебя в академии учил? Разъяснений от меня хочешь? На, получай! — Он поднял согнутую в локте руку и стал говорить, по очереди загибая пальцы: — Гитлер умело использовал ситуацию, в которой Германия оказалась после поражения в первой мировой. Это раз. Империализм, вермахт немецкий, сделал свою последнюю ставку. На фашизм. Дали ему миллионы рублей... Ну, этих самых... марок. Это два. И для международного империализма Гитлер выгоден. Оплот против коммунизма. Это три. Вот тебе и вся механика. Ясно?

Звягинцев подошел к окну, отдернул штору.

Там, за окном, шумел Охотный. Мчались машины, пугая гудками прохожих, высокие квадратные «эмки» и длинные, вытянутые ЗИСы-101, недавняя новинка нашей автомобильной промышленности. Ярко горели огни фонарей. В доме Совнаркома, напротив, несмотря на поздний час, были освещены почти все окна.

И в тот момент другое видение встало перед глазами Звягинцева — затемненный Невский.

И он с тревогой, внезапно ощутив холод во всем теле, подумал: «Неужели это когда-ни-

будь может случиться и здесь?.. Погаснут огни, исчезнет весь этот живой, светлый мир?..»

И подумав об этом со страхом, которого не испытывал никогда, даже там, на Карельском, он вспомнил о Вере, племяннице Королева, с которой познакомился совсем недавно, уже после финской войны, когда Королев пригласил его к себе домой, чтобы отпраздновать победу.

...Он не обращал на нее внимания до тех пор, пока Королев не завел патефон и, предложив молодежи танцевать, ушел со своим старшим братом, Иваном Максимовичем, мастером Кировского завода, в другую комнату играть в шахматы. «Молодежи» в гостях было мало: кроме него, Звягинцева, только дочка старшего Королева — Вера, ее приятельница со своим знакомым студентом — выпускником консерватории, и еще две молодые женщины, соседки Королева по квартире, со своими мужьями.

Когда сдвинули стол к стене, чтобы больше было места, и начались танцы, «незанятой» оказалась только Вера — ее приятельница танцевала со своим консерваторским парнем, жены — с мужьями, и Звягинцеву ничего не оставалось, как подойти к одиноко сидящей на диване девушке и пригласить ее.

Она ответила:

— Давайте лучше посидим, — и спросила: — Вы, кажется, недавно с фронта?

Он сел на диван, Вера как-то очень естественно и просто придвинулась ближе и, глядя ему прямо в глаза, снова спросила:

— Наверное, это очень приятно — после всего того, что вы перенесли, посидеть вот так в тепле, при электрическом свете, правда?

Она задавала свои вопросы без всякой аффектации и кокетства и при этом глядела на Звягинцева внимательным, пристальным взглядом, как бы желая этим подчеркнуть, что для нее очень важно услышать его ответы.

Тем не менее Звягинцев поначалу говорил с Верой рассеянно и полушутливо, украдкой поглядывая на ее красивую подругу, которая самозабвенно танцевала со своим студентом под звуки танго «Черные глаза», — оно вот уже несколько лет не выходило из моды. Худенькая, невысокая Вера с ее по-детски раскрытыми, пристально-любопытными глазами явно проигрывала по сравнению со своей длинноногой, красивой подругой, и Звягинцев с сожалением подумал о том, что с поклонником пришла не Вера, а ее приятельница.

Он несколько раз безуспешно пытался поймать взгляд той, другой, а потом, заметив, что Вера по-прежнему терпеливо-выжидающе смотрит на него, сказал:

— Конечно, война не сахар.

И в этот момент увидел в пристальном взгляде Веры что-то похожее на укоризну, точно она хотела сказать, что ожидала от него совсем другого ответа.

Звягинцев несколько смутился, как человек, обманувший ожидание ребенка, и сказал, улыбаясь, что «на войне как на войне», как говорят французы, и на этот раз смутился уже окончательно, потому что понял, что говорит пошлости.

Вера покачала головой и сказала мягко, но убежденно:

— Нет, это не ответ. Я проходила практику в одном из госпиталей. Там лечили обмороженных. Мне приходилось с ними разговаривать. Они рассказывали страшные вещи. Скажите, вы были на самом фронте?

В первое мгновение Звягинцев даже обиделся. Но по лицу Веры было видно, что у нее и в мыслях не было как-то задеть его. Судя по всему, она задавала свои немного наивно звучащие вопросы совершенно искренне.

Тогда он сказал, что провел все три месяца войны на фронте, в инженерных частях.

— А девушек там было много? — спросила Вера.

— Каких девушек? — недоуменно переспросил Звягинцев, но тут же понял, что речь идет о военнослужащих, и ответил, что были и девушки, особенно среди медперсонала.

Понемногу и незаметно для себя Звягинцев втянулся в разговор и уже больше не сожалел, что не танцует с той, длинноногой.

Он почувствовал, что Вера относится к нему с какой-то ласковой заинтересованностью. Звягинцеву это льстило. После трех бесконечных месяцев в снежном бездорожье Карельского перешейка, после ощущения вечного холода, от которого не спасали ни костры, ни железные печки-времянки, он впервые оказался в мирной, уютной домашней обстановке, и Вера была первой девушкой, с которой он познакомился после войны и которая отнеслась к нему с такой, казалось бы, искренней заинтересованностью.

Звягинцев не был женат. Он жил вместе с родителями в далеком сибирском городе, когда после окончания средней школы его по комсомольской мобилизации послали в военно-инженерные войска. Потом Звягинцев поступил в Военно-инженерную академию, успешно окончил ее и был направлен на штабную работу.

Он стал капитаном, получил хорошее назначение. Во время финской кампании Звягинцев отличился, был награжден орденом Красного Знамени, стал майором... Однако он так и не успел обзавестись семьей.

Разумеется, у него были увлечения и до Веры. Но встреча с ней произошла именно в тот момент, когда измученный бессонными ночами, смертельно уставший Звягинцев всем сердцем откликнулся бы на внимание любой девушки.

...Отец Веры ушел домой рано, а когда стали расходиться и остальные гости, Звягинцев попросил у Веры разрешения проводить ее.

Полковник Королев жил на Литейном,

а Вера бог знает где, за Нарвской заставой, они поехали на автобусе, но остановки за две-три до Нарвской Звягинцев уговорил Веру сойти, и остальной путь они прошли пешком.

По дороге еще с полчаса посидели в скверике. Казалось, что там, у Королевых, и теперь, по дороге к Вериному дому, они уже успели поговорить обо всем на свете. Звягинцев теперь знал, что Вера учится в медицинском институте, что ей двадцать лет, что она не замужем, что в недалеком будущем станет врачом по детским болезням, что из недавно прочитанных книг ей больше всего понравился «Танкер «Дербент», что она любит стихи, из поэтов прошлого ей ближе всех Блок, а из современных — Дмитрий Кедрин...

Когда они сидели в скверике, Вера неожиданно спросила:

— Как вы думаете, я смогла бы... ну... быть на фронте?

Звягинцев ответил шутливо, что раз она выбрала такую специальность, то смогла бы, поскольку женщины-врачи призываются наравне с мужчинами.

Но Вера сказала:

— Нет, я не о том. Просто мне интересно: смогла бы я выдержать?..

Неожиданно для себя Звягинцев представил себе Веру там, на вьюжных дорогах Карелии, измученную, продрогшую, и вдруг ему стало жалко ее.

Он дотронулся до ее руки, потом положил свою широкую ладонь на ее маленькие пальцы как бы для того, чтобы согреть, хотя было нехолодно, приближалась весна.

Она не убрала руку и, казалось даже не замечая прикосновения Звягинцева, глядела куда-то вдаль, занятая своими мыслями.

Потом как будто вернулась на землю, легким, едва ощутимым движением освободила свою руку, улыбнулась и сказала:

— Как это, наверное, хорошо — вернуться из этого ада в ярко освещенный, мирный город... А знаете, Алексей, я вам завидую!

— Ну, завидовать тут нечему, — сказал Звягинцев, думая, что она имеет в виду его пребывание на фронте, — каждый делает то, что ему положено. А я человек военный.

— Нет, я не об этом, — тихо ответила Вера. — Просто вы видите теперь все другими глазами. И эти улицы, фонари и людей... Видите то, чего не вижу я... Вам не кажется, Алеша, что эта избитая фраза о том, что все познается в сравнении, приобрела теперь для вас и для всех тех, кто был на фронте, особый смысл? Вы ведь заглянули в другой мир, ну, в какое-то иное измерение... А потом вернулись в наше. И вам все должно видеться иначе. Огни — светлее, краски — ярче...

...У подъезда дома, где жила Вера, они еще несколько минут постояли.

— Ну вот, а теперь надо прощаться, — сказала Вера и добавила: — Я очень рада, что мы... познакомились.

Она протянула ему руку, он на мгновение задержал в своей ладони ее маленькую, узкую кисть.

Потом Звягинцев одиноко стоял у подъезда, в котором несколько секунд назад скрылась Вера, и с недоумением прислушивался к овладевшему им ощущению пустоты.

И все же тогда Звягинцев не придавал особого значения этой встрече.

Он добрался домой очень поздно — хорошо, что предстояло воскресенье и можно было выспаться, — лег в постель, убежденный, что проснется, даже не вспомнив о Вере, но утром открыл глаза снова с мыслью о ней, будто думал о Вере даже во сне. «Чепуха, — внушал себе Звягинцев, — все-то я придумываю. Ничего в ней нет особенного, в этой девице. Впрочем, может быть, и есть, только я ничего этого и увидеть-то не мог. И что между нами было? Немного поговорили, потом ехали в автобусе, потом шли пешком минут двадцать, не больше, посидели в сквере... Черт побери, да я и вел-то себя с ней во сто раз скромнее, чем с любой другой, которая бы мне понравилась. Шли домой, как школьники, — даже не под руку. И ни о чем таком не говорили. Никакого флирта, никаких слов со значением или, как теперь становится модным говорить, с подтекстом. Так в чем же дело? Почему я все думаю о ней?»

Прошло еще несколько дней, и Звягинцев понял, что очень хочет снова увидеть Веру. Он уговаривал себя, что должен встретиться с ней лишь для того, чтобы перестать о ней думать, увидеть в последний раз и забыть.

Но он не знал номера ее телефона, тогда, при встрече, даже не спросил, есть ли у нее телефон.

Оставалась одна возможность — выудить номер у Королева.

Он зашел в кабинет полковника, поговорил о делах, потом с подчеркнутым безразличием сказал, что в то прошлое воскресенье Вера просила его выяснить, продается ли в Эрмитаже цветной каталог картин, он согласился, узнал, поскольку Эрмитаж рядом — вон, виден из окна, и теперь просит передать...

Разумеется, Королев мог согласиться выполнить поручение, и тогда Звягинцев оказался бы в дураках: ему оставалось бы только воображать, с каким недоумением слушала бы Вера полковника, когда тот повторял бы ей всю эту чепуху об Эрмитаже.

Однако был шанс выиграть эту игру, и Звягинцев выиграл. Королев, скользя взглядом по разложенным перед ним на столе картам, рассеянно сказал Звягинцеву, что тот может сам доложить о выполнении поручения.

Звягинцев равнодушно заметил, что не зна-

от номера телефона Веры, и Королев автоматически этот номер назвал.

Вечером он ей позвонил. Долго обдумывал свою первую фразу и остановился на грубовато-шутливой: «Товарищ Вера? Докладывает новый майор Звягинцев...»

Она, видимо, обрадовалась, услышав его голос. Они встретились и поехали на Острова, в парк. Звягинцеву показалось, что Вера выглядит гораздо привлекательнее, чем прошлый раз. На ней была узкая, из серой фланели, юбка, тонкая вязаная кофточка, на шее пестрая косынка, ветер слегка шевелил ее мягкие, расчесанные на косой пробор светлые волосы.

Они зашли в кафе, потом покатались на лодке, затем уселись на одиноко стоящей скамейке, и тогда Звягинцев попытался обнять Веру и притянуть к себе.

Но тут произошло то, чего он вовсе не ожидал. Вера взглянула на него с удивлением, точно впервые увидела, потом мягко, но решительно освободилась от его рук, посмотрела на него своими широко раскрытыми глазами, покачала головой и сказала:

— Этого не надо, Алеша.

Звягинцев не придал ее жесту и словам особого значения и через несколько минут повторил свою попытку. На этот раз Вера не сделала ни одного движения, а только сказала:

— Я же просила вас, Алеша, не надо!

Она произнесла это каким-то новым, изменившимся голосом, сухим и безразличным, и это подействовало на Звягинцева сильнее, чем если бы Вера его оттолкнула.

Он покорно опустил руки, чувствуя, как между ними мгновенно возникла прозрачная, но непреодолимая стена.

Некоторое время они молчали, потом Вера сказала:

— Я все понимаю, Алеша. Я, наверное, обидела вас. Мне было очень хорошо с вами. Но... иначе. А это — другое...

Возникшее между ними отчуждение уже не исчезало. Он проводил Веру домой на такси, они попрощались, не договариваясь о новой встрече.

...И все же он снова позвонил ей через неделю.

— Вера, здравствуйте, — сказал Звягинцев. — Это я!.. Вы, конечно, уже забыли...

Он сам напросился к ней в гости. Выдумал какую-то байку о том, что оказался в ее районе, совсем недалеко, и, получив согласие, опрометью кинулся вон из телефонной будки, чтобы поймать такси и приехать в правдоподобно короткий срок.

По дороге думал о том, застанет ли Веру одну или дома родители, и если да, то как ему себя с ними вести.

Все произошло не так, как он мог себе представить. Родителей Веры дома не оказалось, но она была не одна. Навстречу Звягинцеву поднялся рослый, красивый парень спортивного типа, чуть сощурил глаза, протягивая руку и называя себя не по имени, как принято среди молодежи, а по фамилии:

— Валицкий...

Уже через несколько минут Звягинцев понял, что был здесь лишним, что приглашен просто так, из вежливости — уж слишком он был настойчив.

Этот Валицкий, которого Вера время от времени называла Толенькой, казалось, своим ростом, своим голосом, своим смехом заполнил собой всю комнату. Он как бы стоял между Звягинцевым и Верой, заслонив ее собственной особой всю, целиком.

Звягинцев вскоре ушел. Спускаясь по лестнице, злой, обиженный, смущенный, он пытался успокоить себя:

«Ну и хорошо. Ну и ладно. По крайней мере, теперь я могу выкинуть все это из головы. Подумать только — свалять такого дурака! Целую неделю ходил сам не свой только потому, что в голову взбрела шальная мысль. Да ей просто наплевать на меня! На кой черт я позвонил, напросился прийти... Ладно, дураков учат».

К концу этого внутреннего монолога Звягинцев был уже убежден, что относится к Вере совершенно безразлично.

Но он ошибся и на этот раз.

Позднее, когда Звягинцев снова и снова пытался анализировать свои чувства и спрашивать себя, что привлекает его в Вере, он отвечал одним словом: «Беззащитность».

Да, да, Вера казалась ему именно такой. Он почувствовал это тогда, когда увидел ее рядом с Анатолием. Казалось, что огромный, самоуверенный парень может делать с ней все, что захочет. Он подавлял ее.

Как? Почему? Чем? На эти вопросы Звягинцев не смог бы ответить. Его ощущение было интуитивным, не основанным на каких-то конкретных фактах. Может быть, ему даже было приятно, даже хотелось думать о том, что Вера нуждается в его помощи. Но, судя по всему, она в ней не нуждалась...

За все это время Звягинцев все же не раз звонил ей по телефону, дважды уговорил пойти с ним в театр, раза три они встречались в гостях у Королева, где были и родители Веры.

Да, они виделись редко, но думал о Вере Звягинцев всегда. Он как-то свыкся с мыслью, что рано или поздно станет ей нужен, что когда-нибудь ей будет угрожать какая-то опасность или что-то в этом роде и тогда она посмотрит на него совсем другими глазами.

...Она избегала встреч. Он понимал это. И все же хотел ее видеть. Пусть редко. Пусть раз в месяц. Звонил ей по телефону. Ему отвечали, что ее нет дома. Снова звонил...

Иногда ему удавалось заставить себя не ду-

мать о ней. Но ненадолго. И тогда он опять звонил. Иногда она соглашалась пойти с ним в театр или в кино.

И после каждой встречи ему казалось, что теперь все будет иначе.

Но все оставалось по-старому...

«И что будет тогда с ней?» — мысленно спросил себя Звягинцев, стоя у открытого окна и глядя на ярко освещенную, заполненную гуляющими людьми улицу.

Но в этот момент слова Королева оторвали его от тяжелых раздумий.

— Послушай, майор, — глухим, несвойственным ему голосом сказал Королев, — ты что, полагаешь... он... ну... он уверен, что придется воевать? Считает, что будем?.. Наверняка?

— Думаю, что уверен, — твердо ответил Звягинцев.

С минуту они молчали.

— Ладно, — сказал Королев, расправляя складки своей гимнастерки и снова подходя к столу. — Тогда давай выпьем по последней, и я пойду чемодан уложу. — Он посмотрел на часы. — Через сорок минут на вокзал...

II

Двенадцатого ноября 1940 года по Унтер-ден-Линден, некогда одной из самых красивых и многолюдных улиц холодного, чопорного Берлина, двигался автомобильный кортеж — четыре черных «мерседеса».

Впереди ехали мотоциклисты в форме СС, но в стальных касках. Над фарами первого «мерседеса» развевались флажки: немецкий со свастикой и советский с серпом и молотом.

В первой машине ехал глава советской делегации, нарком по иностранным делам Советского Союза Молотов и с ним министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. Они расположились по углам просторного заднего сиденья, а их переводчики — впереди, на откидных креслах.

Нарком молчал. Он сидел неподвижно, в застегнутом на все пуговицы черном однобортном пальто, в темно-серой шляпе с твердыми, чуть загнутыми полями, устремив свой неподвижный взгляд вперед.

Это раздражало Риббентропа. «Конечно, — размышлял он, — министр обижен тем холодно-формальным приемом, который только что был оказан ему на Ангальтском вокзале». Что ж, все было разыграно как по нотам. Фюрер сам определил церемониал встречи. Не слишком крепкие рукопожатия. Никаких улыбок. Никого из высших сановников или генералов, кроме Риббентропа и Кейтеля, только второстепенные чиновники министерства и работники советского посольства. Два небольших советских флага по обе стороны вокзального здания. Несколько больших, тяжелых знамен со свастикой — посередине. Проход почетного к раула должен быть грозным, величественн и неотвратимым, как девятый вал.

Фюрер хотел, чтобы этот человек, советск нарком, едва ступив на перрон, понял, что пр ехал в центр Третьего рейха, в столицу велик Германии. Он должен быть поражен, подавл мрачным величием этого государства, долж сразу же понять, что здесь привыкли не сто ко слушать, сколько повелевать. Все было р считано на то, чтобы с первых же минут по вить воображение этого невысокого педанти ного человека в старомодном пенсне.

Но, казалось, нарком был готов к такс приему. Здороваясь, чуть приподнял шляп Пожимая руку Риббентропа, едва прикоснул к ней своими холодными, будто негнущимис пальцами. Проходя мимо неподвижных солда чуть скользнул по ним отсутствующим взглядо

Искоса посматривая на наркома, Риббе троп испытывал чувство злого удовлетворени

Его радовало, что сделано все для того, чт бы поставить на место этого представите Кремля; к тому же мысль о том, что он, Ри бентроп, играет столь значительную ро в истории, тешила его тщеславие. А то, чт происходило сейчас, Риббентроп не сомневалс будет, несомненно, принадлежать истории. Ка и все то, что произойдет впоследствии.

...Бывший торговец шампанскими винам страдал смешанным комплексом величия и не полноценности. Его еще тогда никому не вид мая звезда стала восходить в 1933 году. О нажды вечером двое людей, стараясь бы незамеченными, выскользнули из резиденци президента германской республики. Они не по желали воспользоваться служебной машиной вскочили в первое попавшееся такси. Дали шо феру адрес — захолустное берлинское предме стье, квартира некоего господина Риббентропа

Ни один из них — а это были государствен ный секретарь Мейснер и сын президента Ги денбурга Оскар — не знал, как выглядит это никому не известный нацист. Они слышали, чт он был приятелем фон Папена, с которым, ка жется, познакомился еще во время мирово войны на турецком фронте, и только.

Им вообще было наплевать на какого-т Риббентропа. У них была гораздо более значи тельная цель — встретиться с другим человеком по имени Адольф Гитлер, чья партия одержал победу на последних выборах в рейхстаг, с вож дем этой партии, с тем, о ком Гинденбург сказал что, пока жив, не допустит, чтобы какой-то быв ший ефрейтор занял кресло немецких канцлеров

Дверь им открыл человек со смазливым ли цом парижского бульвардье или содержате одного из сомнительных заведений на Алекса дерплатц; на лице его играла фатоватая, все понимающая улыбка. Блестели густо напомаженные волосы.

Ни Мейснер, ни Оскар Гинденбург не обратили на этого пшюта ни малейшего внимания. Они вообще перестали замечать его после того, как он многозначительным шепотом произнес только одно слово: «Здесь!..»

Да, Гитлер был здесь, в этом доме, равно как и Папен, Геринг и Фрик.

К удивлению присутствующих и прежде всего самого Риббентропа, который не хуже других знал об отношении Гинденбурга к фюреру, сын президента Оскар уже через несколько минут уединился с Гитлером в одной из комнат.

Никто не знал, о чем они говорили.

Так или иначе, но одно из решающих свиданий, предшествовавших тому, что Гинденбург, нарушив свою клятву, назначил Гитлера канцлером, происходило в доме Риббентропа.

Об этом с чувством неубывающей гордости всегда помнил Риббентроп, и — что еще более важно — об этом не забыл и сам Гитлер. Очень скоро Риббентроп распрощался с захолустьем, где жил все эти годы, переехал в одну из роскошных квартир на Кудам — так на берлинском жаргоне называли Курфюрстендам, одну из фешенебельных улиц Берлина, и стал руководителем внешнеполитического бюро нацистской партии.

Риббентроп был необразован, ленив, но тщеславен и высокомерен, как прусский аристократ.

К его великому сожалению, он не был аристократом, и все его попытки хотя бы походить на такового кончались плачевно.

С чувством скрытой зависти вглядывался он в лица кадровых генералов рейхсвера: сухие, вытянутые, надменные лица, покрытые желтоватой кожей, точно благородным пергаментом, на их монокли, с которыми они, казалось, родились.

Одно время он и сам пробовал носить монокль, но проклятое стекло оставляло болезненный след и поминутно выскальзывало из глазной впадины. Кроме того, монокль мешал Риббентропу видеть, и это быстро раскусили те, с кем ему ежедневно приходилось встречаться. Он никогда не мог забыть, как проклятый Геринг, эта жирная свинья, насмешливый и бесцеремонный хам, к сожалению пользующийся особой любовью фюрера, сказал однажды, протягивая какую-то бумагу для прочтения:

— Только выньте монокль, Риббентроп, это важный документ...

И тем не менее звезда Риббентропа восходила все выше и выше. В 1936 году Гитлер назначил его послом в Англию с главной целью: позондировать возможность соглашения с этой страной против России.

Говорили, что тогда-то фюрер и произнес фразу, ставшую впоследствии известной многим. В ответ на высказанное кем-то замечание о некомпетентности Риббентропа Гитлер сказал: «Риббентроп хорошо знает, кто бог и кто ему молится».

Да и зачем Риббентропу была нужна компетентность в устарелом, интеллигентском понимании этого слова! Разве он не смог бы, даже разбуженный среди ночи, процитировать великие, пророческие слова фюрера из «Майн кампф»: «Мы, национал-социалисты, начинаем с того места, где остановились семьсот лет назад!» Сколько раз на пивных сборищах, на уличных собраниях Риббентропу доводилось повторять эти слова! Они были пророчеством, программой, инструкцией... «Мы прекращаем бесконечное движение немцев на юг и запад Европы и обращаем наши взоры к землям на востоке. Когда мы говорим сегодня о новых территориях в Европе, то должны прежде всего иметь в виду Россию и пограничные с ней вассальные государства. Сама судьба направляет нас туда». В этих словах заключалось все, что должен был знать человек, посвятивший свою жизнь фюреру.

Однако одних этих слов, хотя бы и навсегда благоговейно затверженных, было мало для того, чтобы занять пост немецкого посла в Англии. Но, во-первых, за время работы во внешнеполитическом бюро партии Риббентроп кое-чему научился. Во-вторых, он хорошо знал, «кто бог, а кто ему молится». В-третьих... Это третье, но далеко не последнее по важности обстоятельство заключалось в том, что Риббентроп имел в Лондоне связи с людьми, которых в Берлине считали друзьями Германии.

В Лондоне Риббентроп не засиделся. В начале 1938 года Гитлер реорганизовал свой кабинет, выкинув оттуда Бломберга и Нейрата, которые казались ему слишком «старомодными», отягощенными традициями Веймарской республики. Место министра иностранных дел оказалось вакантным. Гитлер назначил на этот пост «динамичного» Риббентропа, хорошо усвоившего принципы нацистской дипломатии.

В один из осенних дней Риббентроп по поручению фюрера подписал в Берлине антикоминтерновский пакт с Японией и вечером того же дня объявил на многолюдной пресс-конференции, что отныне Германии и Японии предстоит сообща защищать западную цивилизацию.

Он не удостоил ответа ехидный вопрос одного из журналистов, каким образом Япония, расположенная, как известно, на Дальнем Востоке, собирается защищать Запад, и не обратил внимания на сопровождавший этот вопрос общий смех, — в 1938 году звезда Риббентропа была уже в зените.

...И вот теперь, исполненный чувства гордости и собственного величия, он ехал в огромной министерской машине по Унтер-ден-Линден, искоса поглядывая на молчаливого советского наркома, с которым в прошлом году встречался в Москве.

Никаких признаков эмоций не было замет-

но на лице Молотова. И это раздражало германского министра. «Ординарное лицо гимназического учителя, — говорил себе Риббентроп. — Интересно, можно ли представить себе его с моноклем? И почему он предпочитает старое пенсне очкам? В Германии пенсне носили разве что только ювелиры и зубные врачи, в большинстве своем евреи...»

— Как дела в Москве? — с натянутой улыбкой спросил Риббентроп, чтобы нарушить тяготившее его молчание.

— В Москве дела идут хорошо, — ответил нарком, чуть поворачивая голову в сторону своего собеседника.

— Как здоровье господина Сталина?

— Отлично.

— Как Большой театр? — продолжал спрашивать Риббентроп.

— Большой театр на месте.

— Очень приятно слышать. «Лебединое озеро» — одно из моих незабываемых впечатлений. Конечно, театральный сезон уже начался?

— Да. Первого сентября, — лаконично ответил человек в пенсне.

— Как поживает несравненная Лепешинская?

— Кто?

— Я имею в виду вашу выдающуюся балерину.

— Она танцует.

Молотов рассеянно поглядел в окно. На тротуарах было много штурмовиков и полицейских. Риббентроп знал, что сегодня им было поручено не только обеспечивать безопасность кортежа, но и разгонять очереди, которые обычно стояли у продовольственных магазинов.

Риббентроп снова скосил глаза в сторону, когда они проезжали мимо развалин, — это были свежие следы ночной бомбежки.

Но гость сидел по-прежнему неподвижно, опять устремив взгляд вперед. «Что ж, — подумал Риббентроп, — тем лучше!» На всякий случай он сказал:

— Несколько дней назад англичане бросили на Берлин сто самолетов. Рейд отчаяния. Прорвались только три. Позавчера люфтваффе предприняло ответную карательную акцию. Пятьсот самолетов! Почти все они достигли цели. Лондон — в развалинах. Мы получили прекрасные фотоснимки.

— Да? — сдержанно переспросил Молотов.

«Интересно, что вы запоете, когда наши самолеты будут бомбить Кремль!» — злорадно подумал Риббентроп. Эта мысль принесла ему некое внутреннее облегчение. Он стал думать о переговорах, которые должны были скоро начаться. Было приятно размышлять об этом. Приятно, потому что в этих переговорах на его стороне окажется огромное преимущество. Не важно, что будет сказано. Важно, неимоверно важно будет то, о чем сказано не будет.

Он, этот невысокий человек в пенсне, и тот, другой, что стоит за ним, усатый, в полувоенной форме, и все те, что стоят за обоими, — люди неполноценных рас, они не знают, что их час фактически уже пробил, что все они вместе со своей проклятой страной скоро будут уничтожены.

Да, им, к счастью, не известно, что гигантская машина уже пущена в ход и что стрелка часового механизма медленно, неотвратимо обегает положенные ей круги... «Они все погибнут, все, все, в гигантском катаклизме, в схватке огня и льда», — мысленно произнес Риббентроп, привычно прибегая к широко распространенной в высшей нацистской среде мистической терминологии.

Впрочем, сам он в душе был далек от всякого мистицизма. Там, в Берхтесгадене, высоко среди баварских альпийских гор, в Бергхофе — загородной резиденции Гитлера — он со смиренным вниманием вслушивался в исполненные мрачной таинственности пророчества фюрера о том, что весь мир стоит на пороге грандиозной мутации, которая даст человеку могущество, подобное тому, каким древние наделяли бога.

Все эти разговоры об извечной борьбе льда и огня, о сверхчеловеках, которые притаились где-то под землей, в глубоких пещерах, и скоро появятся, чтобы править людьми, были непонятны Риббентропу, — он начинал чувствовать себя в своей тарелке лишь тогда, когда разговор переходил на дела сугубо практические.

Но ощущение своей причастности к некоему грандиозному тайному замыслу усиливало в Риббентропе сознание собственной значительности. Он становился как бы сродни этим самым демоническим сверхчеловекам. И Риббентроп с чувством огромного превосходства посмотрел на своего бесстрастного соседа. «Хотел бы я увидеть твое лицо, твои немигающие, прикрытые овальными стеклышками пенсне глаза, — со злорадством думал он, — если бы ты узнал то, что пока знают лишь несколько десятков человек в Германии! Знает Йодль, которому фюрер еще год назад дал ясно понять, что завоеванная польская территория должна рассматриваться лишь как плацдарм для нового, решающего прыжка немецкой армии. Знает заместитель Йодля полковник Вальтер Верлимонт, которому три месяца тому назад фюрер разрешил посвятить узкий круг офицеров штаба вермахта в свое твердое намерение атаковать Советский Союз весной сорок первого года. Знают Гесс, Геринг, Геббельс, Борман, Кейтель, Браухич, Гальдер... Все они посвящены в исполненный нордической хитрости грандиозный замысел фюрера, и все они умеют хранить тайну...»

...Резиденцией советской делегации должен был служить дворец Бельвю. Машины промчались по длинной аллее, образуемой густыми

рядами лип, и остановились недалеко от парадного подъезда.

— Этот дворец, — торжественно сказал Риббентроп, когда он и Молотов сделали несколько шагов по парку, — некогда был собственностью кайзера. Теперь он принадлежит Германии.

Риббентроп тут же счел свои слова неудачными: «Чего доброго, Молотов подумает, что я хочу подольститься к нему, выражаясь подобным образом», — и добавил уже значительно суше:

— Фюрер предназначил дворец для гостей немецкого правительства.

Он повел наркома по парадным комнатам. Они шли молча. Риббентроп искоса поглядывал на человека в пенсне, стремясь уловить, какое впечатление все же производит на него окружающее — стены, увешанные старинными гобеленами, драгоценный фарфор, огромные букеты роз в вазах, старинная дворцовая мебель и застывшие у дверей слуги в расшитой золотом одежде.

Но Молотова все это, по-видимому, не интересовало. Он не задержался ни у одного гобелена, не постоял ни перед одной картиной, не полюбовался ни одной розой, хотя бы из вежливости.

Риббентроп с досадой вспомнил, что сам он не удержался от восхищенных восклицаний, когда в прошлом году его провели по парадным залам Кремля. А сегодня этот апатичный славянин ступает по бесценным коврам одного из самых великолепных дворцов Германии, мимо картин и гобеленов, которые послужили бы украшением знаменитейших музеев мира, проходит так, точно всего этого просто не существует.

Перед широкой мраморной лестницей, ведущей во второй этаж, где располагались жилые помещения, Риббентроп остановился.

— Вы увидитесь с фюрером во второй половине дня, господин министр, — многозначительно сказал он. — Если с вашей стороны нет возражений, мы смогли бы обсудить некоторые вопросы в предварительном порядке. Разумеется, после того как вы отдохнете...

— Мы будем готовы через полчаса, — сказал Молотов, и это были первые слова, произнесенные им после того, как они вошли в замок.

Риббентроп предложил наркому сигареты и сигары, хотя знал, что тот не курит. Затем сам закурил сигару, выпустил клуб дыма, вежливо помахал рукой, чтобы дым не достиг гостя, и, широко улыбнувшись, голосом, не лишенным некоей торжественности, сказал:

— Итак, господин министр, настало время, чтобы четыре великих державы — я, естественно, имею в виду Россию, Германию, Италию и Японию — определили сферы своих интересов. По мнению фюрера, — он сделал ударение, произнося это слово, — все устремления этих стран должны быть направлены на юг. Италия, как известно, уже пошла по этому пути. Что касается Германии, то она в дальнейшем намерена расширить свое жизненное пространство за счет земель в Центральной Африке. Хотелось бы услышать о намерениях России, — несколько наклоняясь в сторону своего собеседника, сказал Риббентроп и сделал большую паузу.

Но человек в пенсне, видимо, не собирался разомкнуть свои плотно сжатые губы. Помолчав мгновение, Риббентроп продолжал, значительно подчеркивая слова:

— Не считает ли Россия, что для нее было бы естественно обратить свои взоры на юг, то есть к южному морю? Полагаю, что новый морской выход был бы для России...

— К какому морю? — неожиданно прервал Риббентропа нарком, и в интонации его прозвучало нечто похожее на усмешку. Риббентроп удивленно приподнял брови, точно желая спросить: неужели в Кремле плохо знают географию? Однако Молотов молчал, вопросительно глядя на Риббентропа.

Последний невольно смешался и хотел было напомнить, что уточнение географических пунктов в ситуациях, подобных сегодняшней, не в традициях дипломатии. Однако счел за лучшее вообще не отвечать на столь прямолинейно поставленный вопрос. Он сделал неопределенный жест рукой, прочертив полукруг зажатой в пальцах сигарой, и стал пространно говорить об огромных переменах в мире, которые неизбежно произойдут после того, как Германия закончит начатую ею победоносную войну.

— Я уверен, — зажигая потухшую сигару, закончил Риббентроп, — что обе наши страны выиграли, заключив свой исторический пакт. Не кажется ли господину министру естественным, что и дальнейшее, послевоенное сотрудничество между Германией и Россией пошло бы на пользу нашим народам?

Произнося эти слова, Риббентроп вспомнил о директиве фюрера, данной им генералу Томасу, начальнику управления военной экономики верховного командования. Смысл ее заключался в том, чтобы планировать поставку России материалов, предусмотренных германо-советским договором, лишь до весны сорок первого года. Лишь до весны!..

И Риббентроп снова улыбнулся, глядя на представителя страны, судьба которой уже была решена.

— К какому морю? — неожиданно повторил свой вопрос этот человек, точно не слышал ничего из того, что только что было сказано Риббентропом.

Немецкий министр недовольно передернул плечами и резким движением потушил сигару, ткнув ею в дно хрустальной пепельницы.

«Что ж, — подумал он, — в конце концов я ничем не рискую».

— Я полагаю, — сказал он, — что Россия могла бы извлечь серьезные для себя выгоды, обратив взоры в сторону Персидского залива и Аравийского моря.

— Вы так п-полагаете? — переспросил Молотов, впервые обнаруживая свою привычку слегка заикаться, которая так нервировала Риббентропа еще в Москве, потому что нередко придавала самым простым словам этого человека многозначительный или ядовито-насмешливый характер.

Риббентроп посмотрел в упор на наркома, стараясь определить, является ли его вопрос чисто риторическим, или в нем заключен какой-то особый смысл.

Но лицо человека в пенсне хранило по-прежнему спокойно-непроницаемое выражение. «Уж не намерен ли этот большевик издеваться надо мной? — подумал Риббентроп. — Какого еще ответа он ждет от меня? О, интересно было бы себе представить, какой характер принял бы разговор, если бы этот бесстрастный, как и все большевики, лишенный воображения человек знал, какая ставка сделана в этой игре!..»

Риббентроп снова мысленно повторил слова — приказ, отданный Гитлером генералу Томасу, но в этот момент Молотов неожиданно сказал:

— Я задал свой вопрос, потому что при определении любых перспектив необходима точность и... б-бдительность. В особенности, когда речь идет о Германии и Советском Союзе.

Риббентроп на мгновение смутился. Ему показалось, что Молотов каким-то чудом услышал слова, которые он произнес лишь мысленно. «Чепуха, совпадение», — тут же успокоил себя Риббентроп и, чуть повышая голос, переспросил с хорошо разыгранным недоумением:

— Вы сказали «бдительность»? Я вас правильно понял? — На этот раз он обращался к переводчику.

— Да. И бдительность, — повторил нарком.

Риббентроп настороженно посмотрел на своего собеседника и подумал: «Что он намерен этим сказать? Хочет дать понять, что ему что-то известно об истинных намерениях Германии? Нет, этого не может быть. Он просто стремится набить себе цену. Просто делает вид, будто располагает какими-то сведениями. Что ж, пусть попробует пойти по этому пути, когда встретится с фюрером!..

О, этот человек в пенсне просто не знает, что его ожидает! Он привык иметь дело с простыми смертными. Но ему предстоит увидеть победителя, громовержца, услышать звук его сокрушительного удара кулака по столу!.. Может быть, тогда этот человек без нервов поймет, что находится на земле Третьего рейха, перед лицом хозяина Европы, завтрашнего властелина мира...»

И Риббентроп с улыбкой, подчеркнуто вежливо сказал Молотову, что ему понятен серьезный и осторожный подход господина министра к возникающим проблемам, но он уверен, что при встрече с фюрером эти проблемы будут благополучно разрешены.

Говоря все это, Риббентроп старался найти ту едва ощутимую грань, черту, которая отделяет вежливость от тонкой насмешки. Он балансировал на этой черте, готовый в зависимости от реакции собеседника немедленно перейти по ту или другую ее сторону.

Но Молотов, казалось, вообще никак не реагировал на слова Риббентропа. Невозмутимо слушал, чуть наклонив голову к переводчику, затем едва заметно кивнул, блеснув стеклами своего пенсне, и встал.

Предварительные переговоры были окончены.

III

В последние годы Гитлер страдал бессонницей. Поздно ложился и рано вставал.

В семь утра ему подавали первый завтрак — простой немецкий завтрак, без всяких излишеств: стакан молока или фруктового сока, одну-две булочки, ломтик мармелада. Он был неприхотлив в еде. Потом гулял, думал, иногда писал, иногда беседовал с астрологом... Свой рабочий день он начинает (втайне терпеть не может это занятие) с просмотра бумаг государственной важности. При одной мысли, что это неизбежно, у него портится настроение, и в свой служебный кабинет — огромная комната, гобелены на стенах, пушистый ковер на полу, широкий и длинный письменный стол, неподалеку от него большой глобус на подставке из черного дерева — он входит уже с испорченным настроением.

Он обладает завидной способностью мгновенно запоминать содержание документов и донесений, причем почти дословно. И тем не менее ненавидит бумаги, потому что они глухи и беззвучны. Он презирает их, они чужды ему, потому что не могут кричать, издавать тот единый сокрушительный, самозабвенный, торжествующий вопль восклицания, который его уши давно уже воспринимают как лучшую на свете музыку.

Читать, даже просто перелистывать эти скучные бумаги — для него пытка. Он вообще ненавидит детали. Уверен, что мыслит масштабами целой страны, Европы, вселенной, космоса. Время, предусмотренное для чтения различных документов, — самое неприятное для него время, если не считать ночи, тех нескольких часов, когда он тщетно пытается заснуть.

Покончив с бумагами, он вызывает своего адъютанта и мгновенно преображается. Жизнь снова обретает для него смысл: появился собеседник, вернее, слушатель.

Даже за столь прозаическим занятием, как обсуждение с адъютантом программы предсто-

него дня, ему удается произнести несколько речей о политике, вегетарианстве, религии, большевиках, о дрессировке собак или о достоинствах дирижера Фуртвенглера.

Затем он обычно принимает военных — руководителей генштаба. Выслушивает их доклады. Не до конца, нет. Это потребовало бы от него невероятного напряжения сил. Те, что докладывают, давно уже научились угадывать, когда им следует умолкнуть и выслушать монолог, нередко не имеющий никакого отношения к докладу. Но иногда они не успевают замолчать вовремя. Тогда водопад слов обрушивается внезапно. Часто он сопровождается ударами кулака по столу и полетом листков бумаги, сброшенных со стола решительным взмахом руки громовержца. Ходили слухи, что в таком состоянии он был способен рвать зубами ковры и гардины.

Но всему приходит конец. Он успокаивается и тогда в состоянии вести нормальную беседу. Диктует решения. Это он очень любит. Диктует резким, отрывистым, хрипловатым голосом, устремив взор в пространство, и, кажется, видит перед собой не стенографа, не смеющего оторвать свой взгляд от блокнота, но все человечество — миллионы людей, покорно и с трепетом ловящих каждое его слово...

Потом обедает. Вареные овощи. Овощной суп. Омлет из овощей. Компот из фруктов.

Он вегетарианец. Не курит и не пьет.

Обедает, как правило, в обществе нескольких лиц, хотя круг приглашенных обычно очень узок: личный секретарь, адъютант, руководитель ведомства печати и командующий авиацией — полный, часто улыбающийся, добродушный на вид, вполне земной человек. Обычно говорят двое — хозяин и толстяк: монологи одного, сопровождаемые солеными, одобрительными шутками и раскатистым смехом другого. После обеда он возвращается в свой кабинет. Начинаются совещания. С министром иностранных дел своей страны. С министрами других стран, дожидающихся аудиенции. С членами партийного руководства. Иногда встречи переносятся в окруженный высокими стенами парк, расположенный тут же, неподалеку.

Взрывы ярости, свирепые выкрики или торжественные декларации время от времени доносятся до ушей настороженных, всегда готовых к действиям сотрудников многочисленной охраны.

...Вечером, если он не разъезжает по стране и лающий голос его не воспроизводят тысячи репродукторов, то смотрит фильмы — голливудские боевики и военную хронику — в своем личном кинозале, расположенном в нескольких шагах от его служебного кабинета.

Питает почти патологическую страсть к вагнеровским операм, хотя иногда посещает и «Метрополь», где танцуют хорошенькие девушки.

Дома его обычно никто не ждет. Он не женат. Считается, что женщины не играют никакой роли в его жизни, целиком отданной борьбе за мировое господство немцев.

Он так и не женился. Женщине, имя которой посвященные связывали теперь с его именем, он не часто разрешает приезжать к себе: все свое время вождь отдает народу...

Он невысокого роста и непропорционально сложен: относительно длинное туловище и очень короткие ноги.

По части одежды он сама скромность. Летом — коричневая рубашка, заправленная в брюки военного образца. Сапоги. Иногда френч зеленовато-мышиного цвета. В холодное время года — кожаное пальто с поднятым воротником, фуражка с высокой тульей.

Его соратники сверкают орденами, он же носит только один — простой, солдатский — Железный крест.

Давно прошли времена, когда этот человек был известен только завсегдатаям мюнхенских пивных. Все или почти все забыли годы, когда он и его немногочисленная партия были бедны, подвергались насмешкам и оскорблениям, когда только немногочисленные, но могущественные люди разглядели в нем вождя.

Первыми на него поставили Фриц Тиссен, глава немецкого стального концерна, и Эмиль Кирдорф, рурский угольный король.

Их первый вклад был относительно скромен — сто тысяч золотых немецких марок — и передан тайно, окольным путем, через генерала Людендорфа.

Потом деньги потекли рекой: когда речь шла о борьбе с марксизмом, профсоюзами и рабочим классом, те люди средств не жалели. Примеру Тиссена и Кирдорфа последовали другие: фон Шнитцлер из И. Г. Фарбен, Август Ростерг и Август Диин, Куно из пароходной компании «Гамбург — Америка», Немецкий банк, Коммерческий банк, «Альянс» — крупнейшее немецкое страховое общество...

Но об этом более чем скромном начале его деятельности помнят лишь немногие. Для остальных он богом данный спаситель Германии. Ее настоящее и будущее.

Его зовут Адольф Гитлер, но никто, даже самые близкие из друзей, не смеют обращаться к нему по имени.

Для них он «фюрер». «Мой фюрер». Так же, как и для миллионов других немцев, — полубог, которому предстоит утвердить господство над всем миром, над всем человечеством одного государства — Германии, одной нации — немецкой.

...В тот вечер Гитлер принимал ближайших друзей в Бергхофе — излюбленной своей резиденции, месте отдыха, убежище для размышлений.

Может быть, Гитлер особенно любил эту большую белую виллу, потому что она была расположена высоко в горах, в баварских Альпах.

Слегка ссутулившись, опустив руки и сплетя их кисти ниже живота, мелкими шаркающими шагами, изредка подергивая правым плечом, он ходил из угла в угол огромной гостиной.

Иногда останавливался у окна, высокого и широкого. Открывающийся пейзаж — лишь небо и горы — напоминал ему, как высоко он стоит над людьми, ближе к небу, чем к людям.

Гости сидели в креслах, расставленных у низких длинных столиков: генерал-фельдмаршал Кейтель, Борман, Ева Браун, красивая и безликая возлюбленная фюрера, шеф прессы доктор Отто Дитрих, имперский руководитель трудового фронта Лей с женой и один из недавно назначенных адъютантов рейхсканцлера, Арним Данвиц.

В огромном камине пылали дрова. Тонкие, одинаковые по размеру поленья возвышались горкой на широком медном листе перед камином. Неподалеку, пригревшись у огня, лежала Блонди, любимая овчарка Гитлера.

Время от времени фюрер подходил к камину, чтобы погладить собаку, подбросить поленья или помешать угли длинными щипцами.

Курить запрещалось. Не было и спиртных напитков. Только кофе и чай, который время от времени разносили гостям эсэсовцы в ослепительно-белых мундирах.

Время приближалось к полуночи. Гости устали. В течение бесконечно длящегося вечера они выслушали уже несколько монологов фюрера. Об Англии — проклятой нации торгашей и надутых снобов, еще в прошлом столетии опозорившей себя, посадив еврея в кресло премьер-министра; о французах — заживо гниющем сброде, без веры, без единства, погрязших в разврате подлых лягушатниках, допустивших создание блока, названного «народным»; о Рузвельте — плутократе с пораженными полиомиелитом ногами и типично прагматическим умом политического комбинатора; о великом немецком пианисте Вальтере Гизекинге, который, не в пример гнусным писакам типа Томаса Манна или Фейхтвангера, не только не покинул великую Германию, но с разрешения Геббельса поехал в международное турне, чтобы ее прославить; о теории космического льда и земной пустоты...

Он не коснулся только одной темы. Той самой, которая сегодня интересовала гостей больше, чем все остальные. Предстоящего визита Молотова.

Все приглашенные сегодня к Гитлеру — обычный круг гостей — ждали его высказываний именно по этому поводу. Ведь люди, которые здесь собрались, были хорошо осведомлены, посвящены в самые секретные планы фюрера.

Они знали, например, что война с Россией предопределена, — фюрер уже принял на этот счет непоколебимое решение. Более того: она уже разразилась бы, если бы Кейтель и Гальдер из чисто военных соображений не уговорили Гитлера перенести ее начало на будущий год.

Нет, они не были против самого замысла — это знали все, кто был близок к фюреру. Просто убедили его в невозможности своевременной переброски необходимых войсковых контингентов с запада на восток в такие сжатые сроки. Доказали, что невыгодно начинать столь большую кампанию в преддверии зимы.

Фюрер нехотя согласился с их доводами. Объявил: годом новых великих побед должен отныне стать будущий, 1941 год.

К сожалению, подозрительность Кремля — и это тоже не было секретом для собравшихся здесь людей — в последнее время значительно возросла. Это стало совершенно очевидным недавно, после посещения Молотова Типпельскирхом.

Все собравшиеся здесь люди помнят, как месяца два тому назад здесь же, в гостиной, стоя перед сидящим в кресле раздраженным фюрером, Риббентроп рассказывал об этом посещении. Гитлер был зол уже с самого начала доклада, обругав Типпельскирха при первом упоминании его имени Риббентропом. Непонятно почему. Ведь было совершенно естественно, что в советский Наркоминдел отправился Типпельскирх, поскольку посол граф Шуленбург был тогда в Берлине, в отпуске, а временным поверенным оставался именно Вернер фон Типпельскирх. Конечно, все, что произошло дальше, определялось не отсутствием дипломатического таланта у поверенного, а характером поручения, кстати возложенного на него самим фюрером.

Типпельскирху предстояло информировать Кремль о том, что Япония, Италия и Германия в ближайшие дни собираются заключить военный союз.

Подготовка к нему велась в глубокой тайне, однако за несколько дней до того, как тайному предстояло стать явным, фюрер поручил своему посольству в Москве информировать Советское правительство о предстоящем заключении трехстороннего договора.

Поверенному надлежало подавить в зародыше все могущие возникнуть в этой связи у Кремля подозрения.

Гитлеру было свойственно недооценивать своих противников, сегодняшних и завтрашних. Однако он был достаточно умен для того, чтобы не связывать успех миссии Типпельскирха лишь со способностью последнего облечь неприятное для Москвы сообщение в обтекаемые фразы. Поэтому Типпельскирху было поручено дополнительно сообщить советскому Наркоминделу, преподнеся это сообщение как доказательство безграничного доверия фюрера к

Кремлю, что в предполагаемом договоре будет специальная секретная статья, указывающая на то, что он направлен не против Советского Союза, а против США.

...Когда Риббентроп, явившись в Бергхоф, стал докладывать Гитлеру о результатах миссии Типпельскирха, тот их уже хорошо знал по донесениям из посольства, переданным представителями гестапо и абвера.

Риббентропу предстояло лишь разыграть все это в лицах перед Гитлером, с самого начала настроенным враждебно против Типпельскирха и, уж конечно, против Молотова.

Итак, согласно шифрованному донесению немецкого поверенного в делах, советский нарком принял его более чем холодно. Молча выслушал и назидательно, точно учитель провинившемуся ученику, прочел короткую нотацию. Смысл ее заключался в том, что, согласно статье четвертой советско-германского пакта, текст любого заключаемого в дальнейшем Германией международного соглашения должен быть показан Советскому правительству предварительно.

Именно «предварительно», а не «накануне», подчеркнул Молотов и добавил: «...включая текст любого секретного протокола или какой-либо не подлежащей оглашению статьи».

Типпельскирх пытался, продолжал свой доклад Риббентроп, отвергнуть эти претензии, ссылаясь на условия военного времени, в которых находится Германия, условия, неизбежно усложняющие процедуру дипломатических согласований. Но Молотов резко прервал его неожиданным вопросом.

Советское правительство, сказал он, хотело бы знать о подробностях соглашения Германии с Финляндией относительно пребывания немецких войск на финской территории...

При этих словах Риббентропа Гитлер вскочил с кресла и, потрясая кулаками, произнес, точнее, прокричал монолог о том, что Германия никому не обязана отчетом, что если нечто подобное Молотов или кто там еще осмелился бы сказать ему, Гитлеру, то был бы уничтожен, испепелен, стерт с лица земли. Затем последовало несколько презрительных фраз по адресу Маннергейма, этой старой бабы и хитрой лисы, у которой все еще дрожит хвост при слове «Россия», хотя война с ней закончилась уже несколько месяцев назад. Наградив этого последнего еще целым рядом весьма нелестных эпитетов, Гитлер, уже совершенно обессиленный, сел, точнее, упал обратно в кресло, махнул рукой Риббентропу, чтобы тот продолжал.

Риббентроп, никогда не упускавший случая подставить ножку ближнему своему, поспешил добавить, что Типпельскирх, видимо, растерялся, потому что в шифровке не сообщает о своем ответе Молотову, а лишь приводит его слова о недоумении Советского правительства, которому, дескать, хорошо известно, что только в самые последние дни немецкие вооруженные силы прибыли по меньшей мере в три финских порта.

Гитлер снова взорвался. Он опять вскочил с кресла, ткнул ногой в горку заготовленных для камина поленьев, которая с грохотом обрушилась, и стал кричать, что не потерпит этой возмутительной подозрительности, поскольку Кремлю было сказано, что немецкие войска направляются не «в» Финляндию, а лишь «через» нее — в Норвегию...

Гитлер кричал все громче, все исступленнее, хотя и он сам, и его приближенные знали, что речь идет о трюке, маневре, камуфляже, что посланные в Финляндию войска имеют приказ там остаться и готовиться для нападения на Россию с севера, угрожая прежде всего Ленинграду. Свою речь фюрер закончил выкриком, что раз так, то он, не ожидая будущего года, уже сегодня отдаст приказ стереть Россию с лица земли...

Однако такого приказа не последовало. В этом маньяке, одержимом жаждой мирового господства, казалось бы, не признающем никаких трезвых расчетов, невежество и сумасбродство сочетались с дьявольской хитростью, отличным пониманием конкретной политической ситуации и умением играть на неизбежно возникающих противоречиях. Итак, Гитлер в тот день не отдал приказа «стереть Россию с лица земли». Более того, поручил германской дипломатии сосредоточить все усилия на том, чтобы усыпить подозрительность Кремля.

Теперь его ставкой было приглашение Молотова в Берлин под предлогом нормализации германо-советских отношений, выяснения всех спорных вопросов. Во время этой встречи необходимо было отвратить взоры России от военных приготовлений Германии и повернуть их совсем в иную сторону.

...И вот сегодня обычный избранный круг людей, собравшихся в Бергхофе, с нетерпением ждал, когда же фюрер коснется этой наиболее актуальной темы, ведь Молотов через два дня будет в Берлине...

Но Гитлер говорил о чем угодно, только не об этом. В конце концов его утомленные гости, уже отчаявшиеся услышать что-нибудь новое, с нетерпением ждали того момента, когда им будет позволено идти спать.

Но Гитлер, казалось, не собирался уходить, забыв о том, что уже поздно, забыв о своих гостях, вообще обо всем, что его окружало.

Но о главном — о том, что предстояло ему послезавтра в Берлине, о встрече с советским посланцем — он хорошо помнил. Об этом и думал сейчас. Думал молча, поскольку вообще презирал людей, даже тех, наиболее к нему приближенных, которые сидели сейчас в этой гостиной.

Разумеется, вместе с Герингом, Гессом, Борманом, Геббельсом и Риббентропом он еще

заранее до мельчайшей детали, от встречи до проводов, разработал все, что предстоит осуществить послезавтра. Был уверен в успехе.

И все же сейчас он ждал очередного «озарения», догадки, внезапной, блистательной идеи, которая, претворенная в действие, помогла бы ему заманить Молотова в такую западню, из которой уже не было бы выхода.

...Беспорядочно, меняя направление, он сновал по гостиной, точно ткал паутину этого плана, в которой посланцу Москвы предстояло запутаться и в конце концов повиснуть, как обессиленной мухе.

В основном план действия был уже выработан. Он имел две стороны: политическую и, так сказать, эмоциональную. Смысл первой состоял в том, чтобы успокоить Россию, усыпить ее подозрения, убедить большевиков перевести свои взоры с севера и запада на юг, дав, таким образом, возможность Германии закончить приготовления к решающему удару на Востоке.

Вторая, эмоциональная, так сказать, сторона этого плана заключалась в том, чтобы подавить — нет, скорее, распалить воображение Молотова. Советский министр должен увидеть мираж, заманчивый, влекущий, и, поверив в него, увлечь за собой Сталина и всех остальных.

И пока они убедятся, что открывшееся перед ними видение — всего лишь мираж, пройдет время. Время, достаточное для того, чтобы Германия закончила необходимые приготовления к мощному удару, который решит не только судьбу России, но и всей так называемой мировой цивилизации, чье время уже миновало.

Да, план был хорошо продуман. И все же Гитлеру казалось, что в нем не хватает какого-то последнего, решающего штриха, рычага, нажав на который можно было бы накрепко захлопнуть западню.

Чтобы найти этот рычаг, необходимо было «озарение». А оно не приходило...

Гости, уже отчаявшись услышать от фюрера какие-либо неизвестные им подробности о предстоящем визите советского комиссара, ждали того момента, когда после своей очередной пробежки по комнате Гитлер уже не вернется к камину, а, позвав собаку, направится к двери, вяло, как обычно, махнув на пороге рукой гостям в знак прощания.

И только один человек из тех, что собрались в этой гостиной, не жаждал отдыха и не мечтал о том, чтобы фюрер наконец удалился. Он хотел бы если не слышать, то хоть видеть его, видеть всегда, вечно, днем и ночью, ловить каждое его движение, каждый взгляд... Он чувствовал, что остальные гости устали, хотят поскорее разойтись по своим комнатам, удивлялся им, был готов презирать их за это.

Человека, не сводящего преданного взгляда с шагающего по комнате Гитлера, звали Арним Данвиц. Этот тридцатилетний майор из штаба Йодля только что вернулся из оккупированной Польши, куда ездил по личному секретному поручению фюрера, особым расположением которого пользовался вот уже несколько месяцев.

Арним Данвиц, сын участника мюнхенского «пивного путча», одного из старейших членов нацистской партии, скончавшегося вскоре после прихода Гитлера к власти, был влюблен в фюрера заочно с юношеских лет.

Не только по завещанию отца, но в соответствии со своим горячим желанием, Арним решил посвятить свою жизнь служению фюреру.

Член гитлерюгенда в прошлом, Арним вступил в нацистскую партию, едва достигнув уставного возраста. Дальнейшая карьера Данвица определилась в тот день, когда ему выпало счастье вместе с другими молодыми нацистами присутствовать в здании государственной оперы на «хельденгеденкентаг» — торжестве, посвященном памяти немецких героев, погибших в первой мировой войне.

То, что представилось взору Арнима, наполнило его душу чувством священного трепета.

Он увидел в зале море военных мундиров, застывшие ряды солдат рейхсвера на сцене, которые держали в руках немецкие боевые знамена, освещенные светом ярких прожекторов... Огромный, серебряно-черный Железный крест колыхался над древками знамен и головами солдат. И когда оркестр заиграл похоронный марш Бетховена, а в королевской ложе появился Гитлер и, протянув руку, застыл в безмолвном приветствии своим войскам, все существо Арнима Данвица, который стоял в одном из проходов зала, зажав в одеревеневших пальцах древко нацистского знамени, замерло в благоговейном восторге.

С этого дня он уже не мыслил для себя иной карьеры, кроме военной, с отличием окончил военное училище, был замечен и направлен на работу в генеральный штаб сухопутных войск, который возглавлял Гальдер. Но мечтой Данвица было работать в штабе оперативного руководства всех вооруженных сил Германии, потому что штаб этот возглавлял Альфред Йодль.

Гальдер был представителем старого немецкого генералитета, к которому нацисты всегда относились со смешанным чувством зависти, неприязни и подозрительности. Йодль же был офицером новой, нацистской формации, и симпатии к нему фюрера были общеизвестны.

Данвицу удалось перейти в штаб Йодля вскоре после нападения Германии на Польшу.

С переменой в его судьбе была связана тайна. И то, что Данвиц был посвящен в нее, переполняло его сердце гордостью.

Семнадцатого августа 1939 года его вызвал Гальдер и сказал, что ему, Арниму Данвицу, тогда еще только капитану, поручается

дело государственной важности, которое должно быть сохранено в глубочайшей тайне. Он намекнул на то, что рейхсфюрер СС Гиммлер лично указал на него, Данвица, как на офицера генштаба, который может быть допущен к этой секретной операции.

Данвиц знал Гиммлера. Он был старым партийным товарищем отца и бывал в их доме еще задолго до 1933 года, то есть до того, как фюрер встал во главе Германии.

Арним выслушал инструкции Гальдера, щелкнул каблуками, выбросил вперед правую руку и поспешно вышел из генеральского кабинета.

А начальник генштаба сделал странную запись в своем дневнике, который вел изо дня в день: «Гиммлер, Гейдрих, Оберзальцберг: 150 комплектов польского обмундирования со всем необходимым для Верхней Силезии».

Для сотен миллионов людей в Германии, Польше, во всем мире все, что произошло потом, стало известно лишь 31 августа, когда берлинское радио объявило, что отряд польских солдат вторгся на немецкую территорию близ Глейвица и с боем захватил немецкую радиостанцию. Но этого акта ничем не вызванной агрессии зарвавшимся польским извергам показалось мало, продолжал прерывающимся от возмущения голосом диктор, поляки не только захватили немецкую радиостанцию, но и использовали ее для антинемецкой передачи на польском языке. Весь мир мог слышать эту наглую, полную нападок на великую Германию и ее вождя передачу...

Да, это было правдой: такая передача прозвучала в эфире несколько часов назад. Так, значит, это поляки использовали захваченную немецкую радиостанцию?!

Ну, конечно! Вот эти самые поляки, фотографии которых опубликовали все немецкие вечерние газеты. Правда, изображенных на снимках поляков нельзя было ни о чем спросить. Они лежали мертвые на немецкой земле, близ Глейвица, на фоне здания радиостанции. Что ж, и это было естественным: часть захватчиков была перебита доблестными солдатами вермахта, остальные бежали обратно в Польшу.

На другой день фюрер приказал немецким войскам в ответ на эту дерзкую провокацию перейти границу Польши...

А убитые в бою за радиостанцию захватчики еще несколько дней лежали там, где их застала смерть. Фоторепортеры — немецкие и иностранные — запечатлели убитых для летописи войны, которая только что началась.

И никто из них не знал, что эти «поляки» еще несколько дней назад были чистокровными немцами-смертниками, заключенными концлагеря в Дахау. Никто не знал, что им были обещаны жизнь и свобода, если они наденут польскую военную форму и примут участие в операции, носящей кодовое название «Консервы».

Да и сами они не знали, что умрут, когда немецкий военный врач сделал им тут же, у здания радиостанции, предохранительные прививки от сыпного тифа. Это, сказано было им, необходимая мера предосторожности: ведь рядом граница с такой грязной нищей страной, как Польша. Они умерли через четыре минуты после инъекции и от пулевых ранений, которые потом так хорошо были видны на фотографиях, уже не страдали, поскольку мертвые боли не испытывают, даже если им стреляют в голову из автомата.

Но обо всем этом никто не знал. Ведь несколько человек, посвященных в тайну и умеющих ее хранить, в счет не идут.

Среди этих немногих был и капитан Данвиц, обеспечивавший военную сторону операции — доставку польского обмундирования и вооружения. За все остальное отвечало гестапо.

Случилось так, что именно Данвицу, как очевидцу, довелось докладывать о проделанной операции Йодлю. На вопрос последнего, какую награду он хотел бы получить, Данвиц ответил: «Служить под вашим руководством, господин генерал».

Возможно, что перед тем как взять Данвица с собой на доклад Гитлеру, Йодль рассказал фюреру о молодом преданном нацисте-офицере, подающем большие надежды и умеющем молчать. Может быть, сам Гитлер обратил внимание на безукоризненно арийскую внешность порученца Йодля — высокого, светловолосого, с осиной, перетянутой ремнем талией, и во взгляде устремленных на него голубых, со стальным оттенком глаз прочел такую собачью преданность, что проникся к нему симпатией.

Так или иначе, но месяцем позже Данвиц был произведен в майоры, еще через три месяца стал одним из адъютантов фюрера и еще через полгода получил от него особое задание, для выполнения которого отправился в уже покоренную Польшу.

Из командировки Данвиц вернулся только сегодня утром и, прибыв в Берлин, получил приказание немедленно явиться к фюреру в Бергхоф.

...И вот Арним Данвиц уже несколько часов сидит в гостиной Гитлера, стараясь не пропустить ни одного его слова, ни единого жеста.

Он всегда обожал своего фюрера.

Но после участия в операции, о которой только что шла речь, чувство Данвица приобрело особый оттенок. Арним не сомневался, что вся эта идея родилась в гениальном мозгу фюрера. Таким образом, участвуя в ее осуществлении, он, Данвиц, как бы приобщился к тайным помыслам своего вождя, становился их непосредственным выполнителем.

Следовательно, взволнованно рассуждал Данвиц, их — великого фюрера и его, Арнима — объединяет некая тайная, невидимая людям

связь. Он, Данвиц, стал как бы частицей самого фюрера, пусть ничтожной, но все же частицей.

Эта мысль опьяняла Данвица. Он возвращался к ней снова и снова, когда видел перед собой великого человека, допустившего его, скромного майора, в свое святая святых.

Когда высокие стоячие часы в футляре из черного дерева пробили половину второго, Данвиц понял, что сегодня ему уже не удастся доложить фюреру о результатах своей поездки.

Он уже не раз пытался поймать взгляд Гитлера, когда тот проходил мимо, чтобы по выражению его глаз понять, следует ли ему оставаться в Бергхофе или возвращаться в Берлин и ждать прибытия фюрера туда. Но Гитлер, казалось, не замечал своего адъютанта и продолжал ходить по комнате, погруженный в свои мысли.

Наконец он направился к двери, чуть приподняв с порога в знак прощания правую руку с полусогнутой ладонью, и скрылся.

Сразу же оживившись, гости стали шумно прощаться друг с другом.

Кейтель, Лей с женой и, разумеется, Ева Браун оставались ночевать в Бергхофе.

Данвиц стоял в большом холле, стены которого были украшены оленьими рогами и гравюрами на тему «Кольца Нибелунгов», раздумывая, возвращаться ли ему в Берлин или переночевать здесь, на вилле, в помещении для охраны, но в это время к нему подошел личный шофер Гитлера и, щелкнув каблуками, негромко сказал:

— Фюрер ждет вас, господин майор. Он у себя в кабинете.

...Гитлер сидел в глубоком кожаном кресле, расстегнув френч и вытянув ноги, плотно охваченные высокими сапогами. Кресло стояло у окна, и Данвиц уже знал, что это было любимое кресло фюрера. В нем он обычно отдыхал. Левая часть комнаты была рабочей — там стоял широкий письменный стол красного дерева и большой глобус, хотя несколько меньший, чем тот, что Данвиц видел в официальной резиденции фюрера в Берлине, в кабинете новой имперской канцелярии.

Когда Данвиц застыл на пороге и, напряженно выкинув вперед руку, негромко, но с чувством, точно клятву в верности, произнес: «Хайль Гитлер!», фюрер несколько мгновений, не отвечая на приветствие, смотрел на него в упор.

Наконец Гитлер едва заметно кивнул, улыбнулся и многозначительно спросил:

— Ну... Данвиц?

— Мой фюрер, я вернулся в Берлин сегодня в четырнадцать ноль-ноль, — отрапортовал Данвиц, — ваше приказание выполняется точно с соблюдением необходимой тайны.

— Подробнее! — резким, командным голосом приказал Гитлер.

Все в той же застывшей позе, прижав ладони к бедрам и слегка оттопырив локти, Данвиц доложил, что помещения для новых воинских контингентов подготавливаются под видом клубных и спортивных сооружений, роются подземные склады для боеприпасов, все работы, как правило, производятся с одиннадцати вечера до трех утра, то есть глубокой ночью, и нет никаких признаков, что они были обнаружены русскими.

— Вы уверены? — настороженно спросил Гитлер, снова устремляя на Данвица свой колючий, подозрительный взгляд.

— Я скорее бы умер, чем позволил себе ввести вас в заблуждение, мой фюрер, — по-прежнему тоном военного рапорта ответил Данвиц, не опуская головы под буравящим его взглядом.

— Отлично! — воскликнул Гитлер. Некоторое время он молчал, потом спросил уже обычным, будничным голосом: — О чем... говорят?

— О предстоящем приезде Молотова, — коротко ответил Данвиц.

— Точнее.

— Многие полагают, что переговоры укрепят наш договор и...

Этого было достаточно, чтобы Гитлер вскочил, точно выброшенный из кресла невидимой катапультой, и воскликнул, потрясая кулаками:

— Наивные люди, глупцы! Поколение рабов! Они придают значение бумажкам, переговорам! Впрочем, — закончил он уже спокойнее, — это естественно для тех, чье сознание все еще находится во власти глупых предрассудков, для тех, кто не в силах переступить вековую грань, отделяющую раба от господина...

И Гитлер опять стал торопливо шагать из угла в угол, точно догоняя нечто видимое только ему одному.

Данвиц благоговейно ждал продолжения великих высказываний фюрера, но тот внезапно спросил скороговоркой:

— Сколько эшелонов в неделю можно незаметно перебрасывать в пограничные районы?

— Это зависит от времени года, от темноты ночей и от отдаленности от границы конечной остановки поездов, мой фюрер, — ответил Данвиц.

Он сделал паузу и добавил уже, так сказать, на свой риск:

— Разумеется, если переговоры с Молотовым закончатся неудачно и мой фюрер решит...

Но в этот момент Гитлер прервал его. Он снова воскликнул, вкладывая в свои слова всю силу презрения:

— Переговоры, договора!.. Все союзы, которые заключаются не для совместного ведения войны, — чушь, бессмыслица, они ничего не стоят!

Он подошел к Данвицу медленным, торжественным шагом, взял его за подбородок и, слегка приподняв голову, посмотрел ему в глаза.

Потом тяжело опустил руку на плечо майора.

— Слушай, мой Данвиц, и запомни на всю жизнь азбуку современной политики. Пока существует большевистская Россия, моя цель — сделать Германию властительницей мира — недостижима. Тебе понятно это, Данвиц?

— Да, мой фюрер, — поспешно ответил Арним и добавил: — Какая нелепая ошибка истории! Большевизм не существовал бы вообще, если бы немецкая армия в восемнадцатом не потерпела поражения...

— Ложь, ложь! — фальцетом выкрикнул, прерывая его, Гитлер и топнул ногой. — Подлые сказки! — кричал он, потрясая кулаками. — Немецкая армия не потерпела поражения! Нет, ее предали! Не Германия, не немецкие солдаты проиграли ту войну, — им был нанесен удар в спину, в спину, в спину! — повторял Гитлер, задыхаясь и брызгая слюной. — Евреи и большевики — вот кто предал их, когда победа была уже близка!

Он умолк, будучи не в силах продолжать из-за охватившего его приступа ярости.

Данвиц молчал, ругая себя за вырвавшиеся у него слова. Ну конечно! Как он мог забыть великую мысль фюрера, которую тот высказывал не раз в своих речах, статьях, в «Майн кампф», наконец! Ну конечно же, в мировой войне Германия была предана. Ее солдаты уже маршировали по Украине, бронированным кулаком расправляясь с большевиками, и готовы были начать наступление на Петроград, когда в их тылу, в Берлине, в сердце Германии, большевистские агенты, еврейские предатели Либкнехт и Люксембург начали восстание...

— Простите меня, мой фюрер, — дрожащим голосом произнес Данвиц, — я сказал глупость. Просто мысль о том, что большевизм мог бы быть задушен еще в колыбели, заслонила все остальные. Я виноват.

Но эти слова, казалось, прошли мимо ушей Гитлера. Теперь он стоял спиной к Данвицу, лицом к огромному окну, за толстым, пуленепроницаемым стеклом которого виднелись освещенные луной горы.

И казалось, к ним, к этим залитым призрачным светом вершинам, обращает свои слова Гитлер. Он говорил теперь уже медленно и весомо, как проповедник с церковной кафедры:

— Только одна страна вправе претендовать на право стать самой великой европейской силой. Это Германия. Почти все остальные нации вырождаются. Но вырождение идет слишком медленно. Мы поможем ускорить этот неизбежный процесс. Поможем им исчезнуть с лица земли или обрести участь, которую они заслужили, — рабскую участь. Германия станет хозяином мира, потому что государство, посвятившее себя взращиванию своих лучших расовых элементов, не может потерпеть поражение...

Гитлер снова повернулся лицом к Данвицу, но глаза его словно не замечали майора.

В это время большие стоячие часы глухо пробили два раза. Эти звуки, казалось, дали новый толчок мыслям фюрера.

— Час пробил! — торжественно произнес он. — Вы слышите, Данвиц? Мы приняли решение и не отступим от него. Россия будет раздавлена. Первым падет Ленинград, за ним — Москва. Лишенные большевистской верхушки, русские упадут на колени. Дух тевтонский несет в себе неразгаданную тайну. Он подчиняет себе слабых. Я предсказываю вам, Данвиц, Россия рассыплется в прах, в пепел при первом же столкновении с национал-социализмом. Через пять недель после того, как эта рука, — он вытянул вперед руку, — укажет немецким войскам путь, мы будем праздновать победу. И ничто не в силах остановить нас!

— Мой фюрер! — воскликнул Данвиц. — Я хочу просить у вас высокой награды! В тот час, когда ваша рука укажет нам этот путь, я хочу быть там, на Востоке, в первых рядах наших войск! Я хочу быть первым, кто вернется к вам с вестью о великой победе!

Несколько мгновений Гитлер смотрел на него в упор. Подошел ближе. Взял за отвороты френча, резким движением притянул к себе. Глухо, точно поверяя тайну, произнес:

— Тот мир, который я построю, будет принадлежать таким, как ты, Данвиц!

IV

...Хотя встречать гостей из Советского Союза в резиденции Гитлера — новой имперской канцелярии — было поручено статс-секретарю Отто Мейснеру, а не Данвицу, последний в качестве одного из адъютантов фюрера придирчиво проверил последние приготовления к приему.

Вот в этих воротах появятся машины с русскими. Медленно: скорость — пять километров в час — проедут по внутреннему двору, выложенному серыми гранитными плитками.

Вот здесь, в пятнадцати метрах от высоких, отделанных бронзой дверей, Молотова и его спутников будет ждать Мейснер. Он сделает несколько шагов навстречу Молотову. Но не сразу. Даст тому возможность окинуть взором здание имперской канцелярии — недавно законченное величественное архитектурное произведение. Правда, кое-кому оно не нравится. Люди, чьи вкусы извращены так называемой цивилизацией, упрекают архитектора за смещение стилей. Пигмеи! Им не понять, что гениальный зодчий Шпеер воплотил в своем творении идеи фюрера и создал новый архитектурный стиль — национал-социалистский.

Итак, здесь, у хорошо заметной шоферу специально проведенной белой черты, первой машине надлежит остановиться. Примерно здесь,

в этом квадрате, придется минуту-другую постоять Молотову, пока к нему подойдет Мейснер. Интересно, как почувствует себя большевик в окружении этих высоких серо-мраморных колонн под взорами уже выстроившихся солдат, похожих на изваяния?

Вот по этому пути большевистскому посланцу предстояло взойти на свою Голгофу.

Здесь, при входе в канцелярию, к процессии присоединится и Данвиц, чтобы довести Молотова уже непосредственно до кабинета фюрера.

Не таким уж коротким будет этот путь! Он пройдет через анфиладу комнат, сквозь шпалеры застывших у стен офицеров вермахта, чинов СС и СД и закончится у святая святых — у двери, ведущей непосредственно в кабинет фюрера. Так все это будет.

...Цепочка автомашин появилась в воротах внутреннего двора канцелярии в час пятнадцать минут. Первая машина — черный длинный «мерседес» — застыла, согласно данной шоферу инструкции, у белой черты.

Сидевший рядом с шофером чиновник министерства иностранных дел выскочил из машины и открыл дверь задней кабины. Оттуда не спеша вышли Молотов и те, кто его сопровождал.

Окинув скользящим взглядом квадратный двор, похожий на тюремный или казарменный плац, и точно не замечая ни орлов со свастиками в когтях, ни застывших в каталептических позах солдат, Молотов, так и не выждав предполагаемой паузы, резкими шагами направился к двери, ведущей в здание.

И Мейснеру, стоявшему у подъезда, не оставалось ничего другого, как поспешить ему навстречу, иначе нарком уже без всякого эскорта через мгновение сам достиг бы высоких, украшенных бронзовой отделкой дверей.

Мейснеру пришлось почти бежать, чтобы успеть все же встретить Молотова на полдороге.

И получилось так, что весь церемониал встречи: снятие шляп, рукопожатия — был скомкан, Молотов поздоровался с Мейснером, не останавливаясь, только чуть замедлив шаг, и казалось, что он лишь отдает неизбежную дань внимания назойливому просителю.

Данвиц, наблюдавший всю эту сцену из окна вестибюля, был вне себя от обиды и злости. Он подумал, что это было ошибкой поручать встречать Молотова именно Мейснеру, этому холую покойного Гинденбурга, человеку, опутанному предрассудками старомодной дипломатии протокола. Любой офицер СС справился бы с этой задачей куда лучше.

Появление в вестибюле Мейснера, Молотова и его спутников оторвало Данвица от размышлений.

В ту минуту, когда гости поравнялись с ним, он сделал строевой поворот и присоединился к процессии.

Они шли по бесконечной анфиладе комнат, комнат без окон, и днем и ночью освещаемых лишь электрическим светом. Стоявшие длинными рядами офицеры щелкали каблуками и выбрасывали вперед правую руку с такой быстротой и силой, что проходящим сквозь их строй людям могло показаться, что их хотят ударить.

Это был ритуал, подавляющий своей мрачной торжественностью. Тишина. Только гулкое щелканье каблуков. Только резкие взмахи рук. В этом салюте слились вместе и угроза, и властный приказ повиноваться.

Но на Молотова эти люди, видимо, производили не большее впечатление, чем размахивающие крыльями ветряные мельницы.

Данвиц нарочно ускорил шаг и шел теперь почти в одном ряду с Молотовым, конечно, чуть поодаль. Теперь он мог видеть лицо наркома — желтоватую кожу, тронутые сединой усы, плотно сжатые губы, пенсне, большой лоб, аккуратно расчесанные на пробор волосы.

Один раз Данвицу показалось, что губы Молотова чуть искривились в с трудом скрываемой презрительной усмешке. Больше всего на свете Данвицу хотелось бы крикнуть сейчас «Хальт!», а потом приказать схватить этого человека, вывернуть ему руки, сбить с ног...

Но вот впереди забрезжил дневной свет. Анфилада заканчивалась круглым, с большими окнами холлом.

Он был переполнен людьми: они сидели на диванах, расставленных вдоль стен, толпились у стола с закусками, сновали взад и вперед с толстыми кожаными папками в руках — штатские, военные...

И только перед высокими, уходящими к потолку дверями, у которых застыли два эсэсовца, оставалось как бы мертвое пространство. Никто не подходил к двери ближе, чем на несколько шагов. Как только Молотов и все, кто шел за ним, появились в холле, наступила тишина. Те, у кого в руках были тарелки с едой, торопливо поставили их на стол. Сидящие на диванах поспешно встали. Все взоры обратились на советскую делегацию. Молотов чуть наклонил голову, вежливо, но холодно, выражение его лица не изменилось.

В наступившей тишине раздались слова Данвица. Сдавленным от волнения, от сознания величия момента голосом он сказал, что фюрер ждет господина Молотова и сопровождающих его лиц в своем кабинете.

И тотчас же столпившиеся в холле люди поспешно отступили назад, к стенам, стоящие у двери эсэсовцы распахнули обе ее половины и, сделав резкий поворот, выбросили вверх правые руки.

Молотов, его заместители и переводчики вошли в кабинет Гитлера, и двери бесшумно закрылись за ними.

...Пожалуй, впервые после приезда в Берлин Молотов испытал чувство некоторого недоумения. Кабинет, казалось, был пуст. Советские представители стояли в большом, словно предназначенном для балов зале. На стенах висели огромные гобелены. Пушистый ковер закрывал пол. Справа от входа стоял круглый стол и несколько кресел. На столе не было ни бумаг, ни карандашей — только зажженная большая лампа под абажуром.

Очевидно, из-за света этой лампы все, что находилось в дальней стороне комнаты, было погружено в полумрак, хотя там, вдали, и угадывались очертания широкого письменного стола и установленного на подставке огромного, в человеческий рост глобуса.

Пока Молотов решал, где же следует ожидать хозяина кабинета — здесь, посредине комнаты, или попросту расположиться в креслах у круглого стола, — там, вдали, появилась щуплая фигурка во френче. Она возникла откуда-то снизу, точно из-под пола, и Молотов понял, что просто не заметил ранее сидевшего за письменным столом Гитлера, едва различимого в полумраке, на фоне гобеленов, глобуса, стульев с высокими спинками — всех этих преувеличенно больших вещей.

Но постепенно глаза Молотова привыкли к обстановке. Он видел, что Гитлер встал и, обеими руками опершись на доску письменного стола, пристально смотрит на группу стоящих посреди комнаты людей.

Это длилось всего несколько мгновений.

Затем Гитлер вышел из-за стола и направился к Молотову.

Теперь уже можно было различить серо-зеленый цвет его френча и черный военный крест, приколотый на левой стороне груди.

В нескольких шагах от Молотова Гитлер внезапно остановился и вяло взмахнул рукой. Движение это ничем не напоминало те, которыми салютовали Молотову офицеры на его пути сюда.

Затем он подошел к Молотову и по-прежнему молча протянул ему руку. Они поздоровались.

Процесс рукопожатий длился несколько минут. Гитлер подходил поочередно к советским представителям, к переводчикам и протягивал им руку.

Все казалось в нем вялым, обмякшим. Его плечи были опущены, рука словно лишена костей, кожа лица была серой, лишенной каких-либо жизненных красок.

И только глаза, маленькие, острые глаза, полуприкрытые тяжелыми, точно опухшими веками, горели, будто угольки под пеплом.

Затем Гитлер сказал быстро, но монотонно, точно выполняя неизбежную повинность, что рад приветствовать московских гостей в Берлине.

Незаметно появившийся, будто откуда-то из стены, переводчик так же бесцветно, как бы имитируя Гитлера, повторял по-русски слова холодного приветствия.

Молотов молча наклонил голову, Гитлер сделал ленивый жест рукой в сторону кру́глого стола и кресел и первым засеменил туда. Никто не заметил, как и откуда в комнате неслышно появился Риббентроп в сопровождении толстяка Шмидта, личного переводчика Гитлера, и сухощавого Хильгера, советника немецкого посольства в Москве.

После того как все расселись в креслах, некоторое время длилось молчание. Гитлер сидел ссутулившись, слегка навалившись на подлокотник кресла.

Неожиданно он выпрямился. Откинув голову и ни к кому в отдельности не обращаясь, устремив взор в потолок, начал говорить.

Начало речи было спокойным, даже монотонным, манера говорить несколько усталая.

Гитлер начал с того, что поражение Англии — это, по существу, уже свершившийся факт. Если бы не густые туманы, которые в это время года обычно окутывают Британские острова, английская делегация уже ждала бы приема у порога этого здания с формальной капитуляцией в руках. Но период туманов скоро окончится, и немецкая авиация нанесет свой завершающий удар...

Гитлер говорил тусклым, лишенным интонаций голосом, но гладко и без запинок, точно видя перед собой заранее написанный текст. Казалось, что он умышленно, по тонкому расчету не вкладывает никаких эмоций в свои слова, чтобы подчеркнуть, что все, о чем он говорил, — в сущности, аксиома. Смешно волноваться, излагая закон Архимеда. Закон есть закон, о нем в случае необходимости можно напомнить, но доказывать его непреложность нелепо.

Именно в этом заключалась цель ораторского приема Гитлера — он говорил о поражении Англии, как о чем-то решенном, общеизвестном, бесспорном, не нуждающемся в аргументации. Он даже не давал себе труда взглянуть на лица своих собеседников, чтобы определить, какое впечатление производит на них его речь, он не сомневался в характере этого впечатления. Говоря, Гитлер смотрел куда-то поверх голов сидящих перед ним людей.

— Итак, — продолжал он, — нам нет смысла тратить время на обсуждение английской проблемы. С Англией покончено, — сказал он, чуть повышая голос и делая резкий взмах рукой от себя, точно откидывая, окончательно сбрасывая со счетов разбитую Англию. Потом на мгновение умолк и, пожалуй, впервые взглянул прямо на Молотова.

Но тот сидел неподвижно, невозмутимо, положив руки на подлокотники кресла.

Лишь изредка, слушая перевод, он едва заметно наклонялся в сторону переводчика.

— Есть, конечно, проблема Америки, — сказал Гитлер, — но она пока имеет лишь чисто теоретическое значение, поскольку Штаты не смогут угрожать «Новой Европе» до семидесятых или восьмидесятых годов... Не смогут! — повторил он уже несколько раздраженно, поскольку ему показалось, что на лице Молотова при словах «Новая Европа» мелькнула едва уловимая усмешка.

Однако Гитлер тут же подавил свое раздражение, заставил себя не поддаваться ему.

— Теперь, — продолжал Гитлер, — в соответствии с величием исторического момента и открывающимися перед нашими странами возможностями мы должны обсудить вопрос первостепенной важности: что дальше?

Он откинулся на спинку кресла и поочередно обвел взглядом всех присутствующих. Наступила пауза. Гитлер готовился ко второй части своей речи.

Правда, Риббентроп всего лишь час назад доложил ему, что во время предварительных переговоров с Молотовым в замке Бельвю на последнего не произвела особенного впечатления перспектива раздела мира между Германией и Россией.

Но Гитлер не придал особого значения этой информации и решил не изменять плана своей речи. Он не мог допустить мысли, что советский нарком не ухватится за щедрое предложение, когда его выскажет сам Гитлер, лишит себя удовольствия доложить Сталину, что успешно выполнил свою миссию, обеспечив России заманчивые перспективы.

Однако ставшая теперь красочной, темпераментной речь Гитлера о совпадении интересов двух держав, о возможности для России удовлетворить наконец свою «исторически оправданную жажду выхода к океану», судя по всему, не произвела на Молотова никакого впечатления.

И это начинало выводить Гитлера из равновесия. Ему показалось даже, что он увидел подобие усмешки на холеном лице Риббентропа. Бросив гневный взгляд на своего министра, он вскочил с места и, будучи уже не в силах совладать с приступом ярости, стал громко и сбивчиво кричать о том, что история и русский народ никогда не простят Советскому правительству, если оно не воспользуется открывающимися перед ним возможностями.

Он выпаливал фразы, слова, не переводя дыхания, и, когда сделал вынужденную паузу, чтобы глотнуть воздух, услышал негромко произнесенные слова Молотова.

— Я х-хочу заметить, — сказал нарком, — что рассуждения господина рейхсканцлера носят несколько общий характер.

Гитлер почувствовал себя так, точно его внезапно остановили во время безудержного бега. Он нервно облизал пересохшие губы и как-то странно тряхнул головой, точно желая убедиться, что все происходящее не наваждение и что этот человек в пенсне действительно осмелился произнести только что прозвучавшие слова.

Но Молотов, казалось, не замечал состояния Гитлера. Он терпеливо ждал ответа.

И все, кто был в этой комнате, — одни внутренне усмехались, другие трепетали в предвидении неизбежной бури.

Так и не дождавшись ответа Гитлера и теперь уже явно давая понять, что не придает никакого значения всему, что было сказано до сих пор, Молотов заявил:

— Советское правительство дало мне перед отъездом из Москвы совершенно точные инструкции, которым я и намерен следовать. Прежде всего я собираюсь заявить о том, что в первую очередь интересует мое правительство.

Молотов произнес эти слова медленно, как-то отрешенно и вопреки обыкновению почти не заикаясь.

В кабинете и за минуту до этого стояла тишина, но сейчас она казалась особенно ощутимой. Всем своим тоном, холодно-строгим выражением лица Молотов как бы говорил: «То, что происходило здесь до этого мгновения, является несущественным. А теперь начинается главное, ради чего, собственно, мы здесь и собрались».

Так еще никто не разговаривал не только с самим Гитлером, но и в его присутствии. Начиная свой монолог, он ожидал совсем другой реакции. Он предполагал, что если Молотов и не «клюнет» на подготовленную для него приманку, то, во всяком случае, окажется втянутым в обсуждение, пусть хотя бы даже спор, о достоинствах и недостатках его, Гитлера, предложения.

Но просто так взять и откинуть слова фюрера, небрежно отмахнуться от них! Это было неслыханно!

Гитлер сделал несколько судорожных движений, беззвучно открывая и закрывая рот, точно ловя воздух, хотел что-то произнести, но Молотов не дал ему вымолвить ни слова. Не дожидаясь ответа, он сказал:

— Советское правительство снова настаивает на разъяснениях: что собираются делать немецкие войска в Финляндии? Что означает понятие «новый порядок в Европе и Азии», неоднократно употребляемое господином Гитлером в его речах? В чем подлинный смысл пакта трех держав?

Его вопросы падали, как каменные глыбы. Задав последний из них, Молотов сделал короткую паузу и, видимо удовлетворенный замешательством Гитлера, добавил уже как бы между прочим:

— Есть и другие вопросы, в которые должна быть внесена ясность. Они связаны с будущим балканских стран, точнее, с проблемой независимости Болгарии, Румынии, а также Турции.

Он снова сделал паузу и потом сказал коротко и настойчиво:

— Мы ждем ответов и объяснений.

Казалось, что теперь-то уж произойдет нечто из ряда вон выходящее. Никто из тех, кому приходилось наблюдать Гитлера после его прихода к власти, не мог представить себе его в качестве человека, которому учиняют допрос.

Серовато-землистое лицо Гитлера чуть покраснело, на уголках губ выступила слюна, руки впились в подлокотники кресла...

Но взрыва не произошло. К полному удивлению Риббентропа, Шмидта и Хильгера, Гитлер внезапно как-то обмяк, его правое плечо несколько раз дрогнуло в привычном тике, он облизал языком губы, посмотрел на часы и неуверенно сказал:

— Обсуждение поднятых вопросов, как нам кажется, требует времени... Перенесем продолжение переговоров на завтра. Тем более что, по нашим сведениям, скоро предстоит налет вражеской авиации...

Он встал. Поднялись со своих мест и остальные. Встреча окончилась, чтобы возобновиться завтра в четыре часа дня.

Сила ненависти в Гитлере не заглушала в нем способности к холодному расчету. Он мог быть убедительно красноречивым, когда вел переговоры с представителями страны, которую решил захватить, но которая все еще оставалась серьезной военной и политической силой.

Сейчас ему нужна была хотя бы видимость дружеских отношений с Россией. Нужна для того, чтобы выиграть время и перебросить необходимые контингенты войск в Финляндию, к северным границам Советского Союза, в Польшу — к ее западным границам, и успеть перестроить на военный лад промышленность в уже захваченных им странах.

Поэтому Гитлер, несмотря на явный удар, нанесенный его престижу Молотовым, был удовлетворен своим поведением, доволен тем, что не допустил разрыва переговоров, выиграл время — пусть всего лишь сутки, для того чтобы подготовиться ко второму их этапу.

...Вечером он созвал узкое совещание: Геринг, Гесс, Риббентроп, Йодль, Гальдер.

Двое первых настаивали на «твердой линии». Сила фюрера в том, что он фюрер. Как бы ни вел себя на переговорах Молотов, в своем докладе Сталину он неминуемо отразит то, что необходимо Германии, даст понять, что шутить с ней нельзя.

Сталин, который до сих пор не встречал достойных ему противников, не сможет не осознать, что отныне перед ним стоит человек с железной волей, почувствовать, что с таким не шутят.

Генералы, особенно Гальдер, возражали. Разумеется, они полностью поддерживали Гитлера в его решении напасть на Россию. Но фюрер мудро согласился дать им год — теперь уже осталось только несколько месяцев! — для подготовки. «Твердая линия», разрыв переговоров осложнят дело, обострят до крайности подозрения России. В этих условиях будет трудно сохранить в тайне подготовительные военные мероприятия. Генералы призывали фюрера проявить тевтонскую хитрость.

Риббентроп высказал предположение, что завтра Молотов изменит свою тактику. В конце концов сохранение мира — идефикс Кремля. И это понятно: Москве тоже необходимо выиграть время. Молотов побоится вернуться к Сталину ни с чем. Он сейчас наверняка сам раскаивается в своем сегодняшнем поведении...

На этом Гитлер прервал совещание. Он сказал, что примет решение позже, а пока предложил посмотреть последние документальные киносъемки с Западного фронта. Все перешли в кинозал...

Началось с демонстрации короткометражного фильма, посвященного войне с Англией.

Панорама английских островов. Мирное время. Улицы полны народа. Потоки автомобилей. Витрины магазинов. Вывеска «Колониальные товары». Диктор говорит, что могущество Великобритании, ее богатство основаны на колоссальных заморских владениях. Панорама колоний и доминионов. Острова в Тихом океане. Индия. Африка. Мальта. Дальний Восток. Безграничные территории. Миллионы людей. И всем этим владеет Великобритания, точнее Англия. Маленькая голова на гигантском туловище...

Немецкие самолеты над Англией. Пожары в Лондоне. Черчилль с тростью в руке, с сигарой в зубах и с сумкой противогаза через плечо. На его лице явный испуг. Снова взрывы авиабомб. Люди в панике бегут по улицам. Говорит диктор: Британская империя накануне краха. Туловище бессильно падает, если у него отрубить голову. Голова Великобритании готова упасть в мусорную корзину истории. Она уже еле держится... Еще бомбовый удар. Судорожно вздрагивает голова Черчилля на квадратном, неуклюжем туловище.

Мелодия «Хорста Весселя» переходит в величественные звуки немецкого гимна «Германия превыше всего...». Конец. В зале зажигается свет.

Все встают, кроме Гитлера. Он сидит неподвижно, тихий, задумчивый. Остальные нерешительно опускаются обратно в кресла...

...А Молотов в это время сидел в кабинете советского посла на Унтер-ден-Линден в окружении своих переводчиков и работал над донесением ЦК и правительству, методически, шаг за шагом, деталь за деталью описывая все, что происходило на переговорах. К вечеру донесение было готово. Незадолго до полуночи пространная шифрограмма ушла в Москву.

Потом Молотов и члены его делегации уехали в свою резиденцию и легли спать. И только один из переводчиков, совсем еще молодой человек, сотрудник Наркоминдела, чье блестящее знание немецкого языка было причиной того, что именно на нем остановил свой выбор Молотов, еще допоздна сидел в своей маленькой комнатушке, приводя в порядок сделанные им записи, с тайной надеждой, что настанет то далекое время, когда он сможет их опубликовать...

На другой день они встретились снова.

Первым берет слово Молотов. Вопреки предсказаниям Риббентропа он спокоен и уверен в себе. Инструкция из Москвы — ответ на его донесение — пришла еще в полдень.

Молотова по-прежнему интересует Финляндия. Насколько он помнит, господин рейхсканцлер вчера так и не ответил на его вопросы. Что ж, он готов их повторить. Итак, на каком основании Германия тайно перебрасывает свои войска в Финляндию? Какова численность этих войск? Что они собираются делать в Финляндии? Оккупировать ее? Он ждет ответа.

Гитлер пожимает плечами. Высказывает свое недоумение по поводу странной терминологии советского представителя. «Оккупация?!» Он поражен, что Кремлю могла прийти в голову такая мысль. Речь идет об элементарном транзите. Немецкие части направляются в Норвегию. Путь через Финляндию наиболее близкий и удобный для Германии. Разве немецкий посол в Москве не разъяснял уже все это Советскому правительству? Как известно из географии, Финляндия граничит с Норвегией, и поэтому...

— Финляндия граничит и с Советским Союзом, — спокойно, но твердо прерывает Гитлера Молотов, — в частности, крупнейший советский экономический и политический центр — город Ленинград — находится не так уж далеко от финской границы...

Гитлер снова пожимает плечами. Едва речь заходит о Финляндии, как господин Молотов проявляет странную заинтересованность. Это наводит на тревожные мысли. Нет ли каких-либо особых планов у самого Советского Союза, касающихся этой страны?

Молотов ответил, что речь идет о безопасности границ Советского Союза.

Но Гитлер истолковывает это по-своему. Говорит, что ответ Молотова представляется ему по меньшей мере уклончивым. Он хочет предостеречь правительство Советского Союза: война на Балтике сильно осложнила бы отношения между Россией и Германией. Более того, она привела бы к непредвиденным последствиям и...

Молотов резко прерывает его:

— Это угроза?

В разговор неожиданно вмешивается Риббентроп. На его лице широкая, обезоруживающая улыбка. Он говорит, что вряд ли стоит уделять так много времени Финляндии. В конце концов на фоне общих задач, стоящих перед Германией и Россией, этот вопрос является менее чем второстепенным...

Все разыгрывается как по нотам. Так было условлено еще вчера в кинозале. Если Молотов снова заговорит об отправке немецких контингентов в Финляндию, Риббентроп вмешается и даст возможность фюреру осуществить еще вчера во всех деталях продуманный план.

Гитлер встал, поднял руку, как бы прося всех оставаться на своих местах. Сделал несколько шагов по комнате. Потом остановился за спинкой своего кресла и сказал спокойно, умиротворяюще:

— Риббентроп прав. Мы уклоняемся в сторону. Оставим все эти мелочи на рассмотрение чиновников и экспертов. Наши общие враги одержали бы слишком легкую победу, если бы им удалось поссорить Германию с Россией из-за каких-то чисто технических проблем вроде транзита немецких войск через Финляндию...

Он пренебрежительно махнул рукой, снова обошел стол и, остановившись у кресла, в котором сидел Молотов, чуть дотронулся до его плеча и, сделав приглашающее движение рукой, засеменил к стоящему в отдалении глобусу.

Молотов встал. На лице его отразилось легкое недоумение, однако он последовал за Гитлером.

Следом потянулись все остальные.

Подойдя к укрепленному на подставке черного дерева огромному глобусу, Гитлер остановился и, положив руку на многоцветный шар, толкнул его. Глобус стал быстро вращаться вокруг своей оси. Быстрым движением руки Гитлер остановил его и торжественно произнес:

— Господин Молотов! Две наши великие страны являются подлинными хозяевами мира. Давайте же мыслить и говорить, как хозяева!

Он входил в привычную для него роль пророка, цезаря, сверхчеловека.

— Взгляните на этот глобус, — продолжал Гитлер, — вот сюда! — Он показал пальцем на английские острова. — Это Англия, вчерашняя повелительница мира, владычица морей. Сегодня она при последнем издыхании! Завтра она перестанет существовать!

И Гитлер, растопырив пальцы, с силой ударил по тому месту на глобусе, где виднелись очертания Англии. Потом он победоносно взглянул на Молотова и с удовлетворением увидел на его широком лице нечто похожее на смущение. Молотов и вправду был несколько смущен. Он просто не привык к спектаклям подобного рода. Кроме того, он вспомнил фильм Чаплина «Диктатор». Картина только что была выпущена на экран, и американское посольство прислало экземпляр ленты в Кремль для просмотра. Фильм был смешной и злой, впрочем, недоста-

точно злой и глубокий, с точки зрения тех, кто видел его в Кремле. Картину решили не покупать. Да ее и невозможно было купить в условиях договора с Германией: это дало бы повод для крика о недружественном акте. К тому же фильм стоил бешеные деньги...

Однако сейчас, наблюдая Гитлера у глобуса, Молотов вспомнил аналогичный кадр из «Диктатора» и едва сдержал улыбку.

Но сам фюрер истолковал выражение лица Молотова по-своему.

Он продолжал говорить, и нотки торжества все явственнее проступали в его голосе:

— Итак, завтра с Англией будет покончено. Но завтра же встанет другой, весьма важный вопрос: что делать с Великобританией? Что делать с гигантским обанкротившимся имением размером в сорок миллионов квадратных километров?

Он снова положил ладонь на глобус и сказал с пафосом:

— Господин Молотов, Германия предлагает России принять участие в разделе этого имения!

И Гитлер взмахом руки снова пригласил собравшихся к круглому столу, как бы для того чтобы приступить к реализации его предложения.

Когда все опять расселись по своим местам, Гитлер небрежным движением пальцев сдвинул назад прядь волос, прилипших к его вспотевшему лбу, и уже подчеркнуто деловым тоном сказал:

— Необходимо, чтобы страны, заинтересованные в разделе Великобритании, прекратили споры между собой. От таких споров выигрывает только мировая плутократия. Мы должны сосредоточить свое внимание на вопросах великого раздела. Я имею в виду Германию, Италию, Японию и, конечно, Россию.

Произнося все это, Гитлер глядел вверх, на потолок, но при слове «Россия» быстро перевел свой взгляд на Молотова, чтобы увидеть, какое впечатление произвел на него этот козырный ход, это заманчивое предложение.

Но вместо ожидаемого восхищения он увидел на лице Молотова явное выражение скуки. Несколько мгновений он равнодушно глядел на Гитлера, потом не спеша снял пенсне, подышал на стекла, медленно протер их ослепительной белизны платком, снова водрузил на нос и неторопливо сказал:

— Вопрос о разделе Великобритании представляется нам... неактуальным. Есть другие вопросы, которые интересуют Советский Союз в первую очередь. Некоторые из них были названы вчера. И хотя мы и сегодня не получили на них удовлетворительного ответа, нам хотелось бы присоединить к ним и ряд других.

Он чуть наклонился над столом и уже другим, жестким тоном продолжал:

— Давайте говорить напрямик: как известно, Германия дала определенные гарантии Румынии. Туда прибывают все новые и новые немецкие части. У моего правительства есть все основания считать, что эти так называемые гарантии направлены против Советского Союза.

Гитлер изобразил на своем лице возмущение.

— Я не понимаю, — начал он, — какие же основания...

Но Молотов прервал его:

— Извините, господин рейхсканцлер, но я не кончил, — сказал он все так же строго и назидательно. — Советское правительство поручило мне заявить, что оно настаивает на отмене этих гарантий.

— Что?! — вскипел Гитлер, вскакивая со своего места. Он разразился длинной речью. Жаловался на неблагодарность России, отказывающейся принять щедрое предложение Германии, на подозрительность Советского правительства, обвинял его в неискренности, кричал, что Германия оказывается обманутой в своих лучших чувствах.

Он закончил заявлением, что Германия никогда и ни при каких условиях не возьмет обратно гарантий, данных ею Румынии.

Наступило молчание. Молотов выжидающе посмотрел на Гитлера, точно все еще сомневаясь, закончил ли тот свою, казалось, бесконечную речь, и сказал:

— Хорошо. Тогда у меня есть вопрос: допустим, Советский Союз, естественно заинтересованный в безопасности своих юго-западных границ, даст гарантии Болгарии на тех же условиях, на каких Германия и Италия дали их Румынии...

— Разве царь Борис просил о таких гарантиях? — поспешно прервал его Гитлер.

— Это второй вопрос, — ответил Молотов, — мне хотелось бы получить ответ на первый.

Гитлер нервно забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Он торопливо обдумывал сложившуюся ситуацию. Для него было ясно, что разработанный им план провалился. Именно этот факт, а не последний, чисто полемический вопрос Молотова беспокоил его больше всего.

Он настаивал на приезде советского представителя в Берлин в уверенности, что сумеет ослепить его фантастическими перспективами и тем самым дезориентировать Кремль.

Получилось же, что этот советский представитель использовал свой приезд в Берлин для того, чтобы задать те же вопросы, которые Кремль уже ставил перед немецким послом в Москве.

Но посол есть посол. Он всегда мог сослаться на отсутствие соответствующей информации от своего правительства, попросить время на необходимые консультации, наконец, придумать ту или иную успокоительную версию и отка-

заться от нее впоследствии, заменить другой. С этой точки зрения приглашение Молотова в Берлин и предоставление ему возможности задавать свои вопросы непосредственно главе германского правительства казались теперь Гитлеру непростительной глупостью.

И сейчас его буравящий и вместе с тем явно растерянный взгляд бегал по лицам Риббентропа, Шмидта, Хильгера, требуя от них помощи и одновременно как бы обвиняя их в том, что произошло.

Но все они молчали. Сам же Гитлер явно выдохся. Он вложил всю свою искусственную страсть, все свое, так сказать, самовозбуждение в подготовленный им план и теперь был обессилен.

Глухим, бесцветным голосом он, наконец, пробурчал, что, прежде чем дать ответ на поставленный вопрос, должен проконсультироваться с Муссолини.

Все, что произошло затем, было беспомощным повторением вчерашнего окончания встречи. Гитлер посмотрел на часы, сослался на позднее время и возможность воздушного налета.

Вторая встреча, которую Геббельс заранее приказал газетам оценивать как «историческую», «углубившую» германо-советскую дружбу, закончилась.

Заготовленные статьи в вечерних газетах не появились.

Поздно вечером в советском посольстве состоялся прием.

Гитлер на прием не приехал.

Да, он не приехал на прием, хотя о его присутствии там была предварительно достигнута негласная договоренность. Рейхсканцлера представлял Риббентроп.

Своим отсутствием Гитлер хотел показать Кремлю крайнее недовольство ходом переговоров. Он понимал, что в Москве растет подозрение относительно действий Германии и ее конечных намерений. Но вместе с тем был уверен и в другом — в желании Кремля во что бы то ни стало сохранить мир.

Именно это желание Сталина выиграть время учитывалось Гитлером в его игре. Именно на нем основывал он свою уверенность в том, что попытки России прижать Германию к стенке во время переговоров являются только блефом, тактическим приемом. Стратегией же Кремля была ставка на мир.

Эта уверенность основывалась не только на понимании, что Сталину нужен мир по целому ряду причин — в том числе для развития индустриальной мощи, для перевооружения армии, которое, Гитлер знал, уже началось.

Учитывал он и то, что если бы Советский Союз хотел напасть на Германию, то сделал бы это уже вчера или сегодня, пока часть немецких сил сконцентрирована на Западе.

Гальдер на одном из совещаний даже позволил себе неумное замечание, что, начни сейчас Красная Армия наступление на Германию, она дошла бы до Берлина, прежде чем вермахт смог бы организовать серьезное сопротивление.

Слова Гальдера о военных возможностях России больно ранили тщеславие Гитлера, но в то же время успокаивали, поскольку заподозрить Сталина в желании напасть на Германию было невозможно.

Поэтому, полагал Гитлер, главное сейчас заключалось в том, чтобы убедить Россию в готовности Германии развивать и укреплять мирные с ней отношения. В этом случае ничто не помешает Германии использовать последующие полгода для всесторонней подготовки удара на Восток.

Однако факты оставались фактами — на предложенные приманки Кремль не пошел. Его не соблазнила ни «свобода рук» на юге, ни участие в разделе британского «имения».

Поэтому половину следующей ночи и нового дня Гитлер, Риббентроп, Гесс, Геринг, Геббельс и Кейтель потратили на выработку нового варианта предложений России.

В тот день предстояла последняя германо-советская встреча — советское посольство уже уведомило германское министерство иностранных дел, что Молотов готовится к отъезду.

На этот раз Гитлер решил, что не будет принимать участия в заключительных переговорах. Он принял это решение не только потому, что верил в неотразимую убедительность задуманной им новой демонстрации миролюбия Германии, но и потому, что хотел своим отсутствием подчеркнуть недовольство поведением Молотова и тем самым оказать давление на Кремль.

...Тяжелая дверь парадного входа в министерство иностранных дел в ожидании Молотова и его спутников была открыта настежь. Этим подчеркивалась торжественность посещения, поскольку в обычных случаях открывался лишь небольшой проход рядом.

Молотов вошел и оказался между двумя огромными, загадочно глядящими на него гранитными сфинксами. Скользнув по изваяниям взглядом, он усмехнулся, видимо, в ответ на какие-то свои мысли.

Мейснер поспешно провел гостей через белый вестибюль и жестом пригласил подняться по широкой мраморной лестнице.

Кабинет Риббентропа помещался в бельэтаже, и от лестничной площадки к нему вела широкая красная ковровая дорожка. Может быть, эта дорожка, а может быть, и расставленная в холлах и кабинетах массивная красного дерева мебель была причиной тому, что на жаргоне чиновников министерства этот этаж назывался «винным».

Встреча состоялась во второй половине дня в кабинете Риббентропа. Но ей не суждено бы-

ло закончиться там. После первых же произнесенных Риббентропом слов — он еще раз поблагодарил за вчерашний прием в советском посольстве, осведомился о самочувствии господина Молотова — раздался сигнал сирены.

Риббентроп развел руками, посмотрел на часы, сказал, что англичане прилетели в неурочное время, и предложил спуститься в бомбоубежище. Оно оказалось хорошо обставленным помещением, как бы дублирующим кабинет Риббентропа, только без окон: тяжелые портьеры на стенах, широкий красного дерева стол, мраморные бюсты Фридриха Великого и Бисмарка по углам, люстра из бронзы и хрусталя под высоким потолком. Риббентроп пригласил Молотова занять одно из двух глубоких кожаных кресел у письменного стола, а переводчиков — стулья с высокими спинками, расставленные тут же полукругом.

— Итак, — с улыбкой сказал Риббентроп, когда все расселись, — никому из наших врагов, — он поднял вверх указательный палец, явно имея в виду английскую авиацию, — не удастся сорвать германо-советские переговоры. Нас не разъединить ни там, на земле, ни здесь, под землей.

Улыбка сохранялась на лице Риббентропа и тогда, когда переводчик переводил его слова.

Молотов молчал, как бы ожидая продолжения. Но это не обескуражило Риббентропа.

— Здесь, — торжественно сказал он, кладя руку на левую сторону груди, — находится документ, который, я уверен, откроет новую эру в германо-советских отношениях...

Молотов недоуменно приподнял брови над овальными стеклышками пенсне.

— Великая Германия, — продолжал Риббентроп, — ничего не делает наполовину. Если она заносит меч, то опускает его на голову врага. Если она протягивает руку дружбы, то для того чтобы пожать руку друга. Вот...

И он вытащил из внутреннего кармана пиджака вчетверо сложенный лист, развернул и, держа за уголок, потряс им в воздухе.

В глазах Молотова, казалось, появилось любопытство. Он внимательно глядел на листок бумаги, которым размахивал Риббентроп, и даже несколько подался вперед.

— А теперь, — сказал Риббентроп, все еще держа бумагу в вытянутой руке, — я хочу сделать Союзу Советских Социалистических Республик предложение чрезвычайной важности...

Он встал. Поднялся и Молотов.

— Мы предлагаем России, — медленно, отчеканивая каждое слово, продолжал Риббентроп, — присоединиться к пакту трех держав: Германии, Италии и Японии, — который с этой минуты станет четырехсторонним. Проект договора у меня в руке...

И Риббентроп умолк, победно глядя на Молотова. Пожалуй, он и впрямь достиг своей цели, ошеломив последнего. Молотов приподнял плечо, снял пенсне, стал протирать стекла, щуря свои близорукие глаза...

— Оглашаю, — снова заговорил Риббентроп, — проект договора, с тем чтобы его можно было обсудить и внести необходимые поправки...

Он широким жестом указал уже надевшему свое пенсне Молотову на кресло и сел сам.

У Риббентропа была назойливая привычка: беседуя, он передвигал все лежащие на столе предметы — пресс-папье, карандаши, линейку, скрепки, перемещал их, соединял, снова отделял друг от друга.

Так и сейчас, опустившись в кресло, он быстро расставил перед собой пресс-папье, коробку с сигарами, чернильницу с бронзовой крышкой и в некотором отдалении положил вечное перо.

— Итак, — продолжал Риббентроп, — политическая конфигурация мира изменится. Разделенные сотнями и тысячами километров страны объединятся. — Широко раскинув руки, он провел ими по столу, сгребая в одну кучу пресс-папье, сигарную коробку и чернильницу, однако не трогая ручку. Потом откинулся в кресле и, снова взяв в руки документ, начал читать...

Все еще не произнесший ни единого слова, Молотов внимательно слушал Риббентропа, с некоторым недоумением следя за его манипуляциями на столе.

Первые пункты, содержавшие обычные в международных соглашениях перечисления и формулы, Риббентроп читал скороговоркой. Но постепенно темп чтения замедлялся.

— ...статья одиннадцатая, — громко произнес Риббентроп, сделал паузу и продолжал, но теперь уже совсем медленно, тихо, даже таинственно, как если бы поверял Молотову тайну огромного государственного значения: — Статья одиннадцатая, секретная... Участники договора обязуются уважать естественные сферы влияния друг друга и, в частности, России, которая, несомненно, должна быть заинтересована в выходе к Индийскому океану...

Риббентроп сделал паузу и добавил:

— Разумеется, эту и развивающие ее статьи мы публиковать не будем. Все остальное может быть предано гласности хотя бы завтра.

Риббентроп положил бумагу на стол, придавил ее ладонью, быстрым движением ребром ладони придвинул лежащую в стороне ручку к трем другим, ранее сдвинутым с места предметам. Теперь, по его мысли, Германия, Италия, Япония и Россия были объединены. И он победно взглянул на Молотова.

Молотов сидел, полуопустив веки. Затем сказал:

— Советский Союз совершенно не заинтересован в Индийском океане. Он расположен достаточно далеко от него...

Потом сделал паузу, неожиданно подался

вперед, к Риббентропу, и продолжал, но теперь уже энергично:

— А вот в европейских делах и в безопасности своих южных границ мы заинтересованы. И об этом уже было дважды сказано господину рейхсканцлеру. Нас интересуют не слова и не бумажки, — продолжал он, все громче и настойчивее, — не с-слова и не бумажки. Мы требуем эффективных гарантий нашей безопасности. Мы обеспокоены судьбой Румынии и Венгрии. Я еще и еще раз спрашиваю немецкую сторону: каковы намерения держав оси в отношении Югославии и Греции? Что будет в дальнейшем с Польшей? Когда немецкие войска уйдут из Финляндии? Намерено ли германское правительство считаться с нейтралитетом Швеции?

Молотов перечислял свои вопросы быстро и четко, как бы не желая давать Риббентропу время для обдумывания ответов.

Спрашивая, он все более и более подавался вперед, приближая свое лицо к Риббентропу, и наконец умолк.

Наступила пауза. Откуда-то сверху доносились глухие разрывы бомб и очереди зениток.

— Что это: допрос? — медленно, не то спрашивая, не то угрожая, произнес наконец Риббентроп.

Молотов откинулся на спинку кресла и пожал плечами.

— Да нет, почему же? Просто Советское правительство было бы благодарно за соответствующие разъяснения...

— Но все это второстепенные проблемы! — воскликнул Риббентроп почти с отчаянием. — К тому же и вы до сих пор не ответили на главный вопрос фюрера: намерена ли Россия сотрудничать с нами в деле ликвидации английской империи?

Молотов прищурил глаза.

— Вы действительно уверены, что с Англией покончено? — спросил он.

— Несомненно!

— Тогда, — уже не скрывая усмешки, сказал Молотов, — разрешите задать последний вопрос: если это так, то п-почему мы сейчас сидим в этом бомбоубежище? И чьи это бомбы падают сверху?..

...В тот же день вечером Риббентроп доложил Гитлеру, что переговоры оказались безрезультатными и что Молотов, не проявивший никакого интереса к участию в пакте трех, объявил о своем отъезде.

V

...Я стояла у окна вагона. Поезд замедлял ход, появились знакомые мне приметы Белокаменска: будка стрелочника, стоящее на пригорке здание школы, огороженный невысоким забором стадион.

Было так приятно, так радостно сознавать, что через несколько минут я приеду, а завтра проснусь рано утром в маленькой, чисто прибранной комнатке, и буду долго лежать в постели, не двигаясь, в полудремоте, и слушать тиканье раскрашенных настенных часов с гирями на тонких, длинных, чуть тронутых ржавчиной цепочках, и крик петуха, и стук телеги, и ленивое цоканье копыт — все эти милые, простые, успокаивающие звуки, которые никогда не услышишь в Ленинграде.

Впереди два с половиной месяца тихой, бездумной жизни. Каникулы. Как хорошо!..

Все осталось позади. Зачеты, Анатолий, Звягинцев с его телефонными звонками, отец, мама, библиотечный зал, анатомичка, этот лекарственный запах — смесь йода, формалина и карболки, который въедается в кожу, постоянная нехватка времени, вечная спешка — все, все осталось позади!

Сейчас поезд остановится, я выйду из вагона и увижу тетю Машу и дядю Егора, они будут, как обычно, стоять в центре перрона, под часами. Увидев меня, они всплеснут руками и заспешат навстречу. Я все это знаю наперед, потому что уже привыкла — так было и в прошлом году, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом, уже несколько лет подряд я приезжаю сюда на каникулы — когда-то школьницей, а теперь вот студенткой.

Итак, два с половиной месяца буду жить, ни о чем не думая. Ни одной книги не возьму в руки, буду рано вставать, долго купаться в тихой, ласковой речке Знаменке, спать после обеда, вечером ходить в кино, смотреть по второму и третьему разу картины, которые шли в Ленинграде полгода, а то и год назад, рано ложиться, просыпаться от стука колес и крика петуха... Хорошо!

Я вернулась к своей полке, стащила с нее чемодан, попрощалась с попутчиками и стала продвигаться к выходу.

Ну, конечно, все произошло так, как я и ожидала: через мгновение я уже бежала навстречу тете Маше и дяде Егору, волоча чемодан по дощатому настилу перрона, на ходу передавая им приветы от мамы и отца... Дядя Егор берет мой чемодан, по старой привычке вскидывает его на плечо — он когда-то работал носильщиком, — и вот мы все трое идем по пустынному перрону туда, к маленькой привокзальной площади, где стоит на конечной остановке в ожидании пассажиров автобус.

Я что-то болтаю без умолку, будто мне не двадцать лет, а четырнадцать, как тогда, когда я в первый раз приехала сюда уже самостоятельно, без мамы, а дядя Егор, как обычно, вставляет время от времени свои однообразно короткие вопросы: «Как мать-то?», «Как отец?», «Как Питер-то живет?»

И вдруг я останавливаюсь как вкопанная. Там, в дальнем конце перрона, стоит Анатолий.

Чемодан в одной руке, белый плащ — мы вместе покупали его в Гостином — в другой.

Он стоит, и я стою. Тетя Маша и дядя Егор смотрят на меня в недоумении: шла, шла и вдруг точно подошвы к доскам прилипли.

А я не знаю, что мне делать. Как он попал сюда? Ведь только вчера вечером мы попрощались на Варшавском вокзале, и он сказал мне, что, очевидно, поедет на каникулы в Сочи, даже адреса моего белокаменского не попросил, и я обиделась, хотя где-то в душе почувствовала облегчение: немножко устала я от мыслей об Анатолии...

А он... Значит, вот оно что! Выходит, когда мы прощались на вокзале, у него уже был билет на тот же поезд, и чемодан он, наверное, успел отнести в свой вагон перед тем, как мы встретились.

И вот Анатолий стоит в дальнем конце перрона и смотрит на меня, как будто мы и не расставались. Я и рассердилась и обрадовалась, все вместе. «До осени, до встречи», — сказал он вчера как-то слишком спокойно, даже равнодушно. Значит, вот в чем была причина его наигранного безразличия!

— Что с тобой, Верунька? — недоуменно спрашивает дядя Егор.

Я отвечаю:

— Нет, нет, ничего... С каблуком что-то, в щели застрял.

Мы идем вдоль перрона. Анатолий все еще стоит неподвижно, потом небрежно перекидывает свой свернутый плащ с руки на плечо и как ни в чем не бывало идет нам навстречу, слегка покачивая маленьким чемоданчиком.

Я отвожу глаза, стараюсь не смотреть в его сторону, но тут же сознаю, отлично сознаю, как все это глупо, поворачиваю голову и смотрю на него в упор. Когда нас отделяет всего лишь несколько шагов, Анатолий с плохо разыгранным изумлением широко раскрывает глаза, опускает свой чемодан и восклицает театрально:

— Верочка?! Вот так встреча!..

Я чувствую, что краснею, шага сделать не могу, тетя Маша и дядя Егор останавливаются тоже и недоуменно-вопросительно смотрят то на меня, то на него. Проходит несколько мгновений, прежде чем я произношу:

— Здравствуй, Толя! Как ты попал сюда?

Сознаю, что это тоже звучит наивно, неестественно, как-то деревянно. Поспешно добавляю:

— Знакомьтесь. Это Анатолий... Тоже из Ленинграда.

Эти мои слова звучат уже совсем нелепо, просто по-детски. Но как иначе могла я объяснить в ту минуту наше знакомство?

Анатолий кланяется, то есть кивает, его мягкие волосы слегка рассыпаются при этом, он откидывает их назад быстрым движением руки.

— Вот решил отдохнуть в этом богоспасаемом городке после праведных трудов, — сказал Анатолий преувеличенно небрежным тоном, обращаясь не то ко мне, не то к моим спутникам. Мы все еще стояли на перроне.

— Так, так, — отозвался после короткого молчания дядя Егор, — что ж, родственников здесь имеете или знакомых?

— Да нет, откуда! — махнув рукой, ответил Анатолий. — Просто ребята с курса в Сочи собрались, а я, значит, соригинальничал. Положил на стол карту, ткнул пальцем, попал в Белокаменск. Что ж, думаю, название красивое...

— Так, так, — повторил дядя Егор. — И надолго пожаловали?

— Кто знает! — беспечно ответил Анатолий. — Сегодня двадцать первое июня, значит, два месяца и десять дней я вольный казак.

— Вольный, значит, — повторил дядя Егор и вскинул на плечо мой чемодан. — Что ж, двинулись, а то автобуса долго ждать придется.

Он и тетя Маша пошли вперед нарочито, как мне показалось, быстро. Мы с Анатолием шагали за ними.

— Злишься? — тихо спросил он меня.

— Ничего я не злюсь, — сказала я сердито, — только... только это... авантюра какая-то! Зачем ты это сделал?

— Затем, что хотел видеть тебя, — ответил Анатолий.

— Ты должен сегодня же уехать обратно! — сказала я нерешительно.

— И не подумаю. И куда мне ехать? В Сочи? Смотреть, как пижоны и людоедки Эллочки выдрющиваются на пляже?

Не скрою, мне было приятно слушать все это. Но я и виду не подала. Сказала:

— Неужели ты не понимаешь, что это... неприлично! Ведь они мои родственники. Тетя Маша — мамина сестра. Пальцем в карту ткнул!.. Ты их, что же, за детей считаешь?

— Что же тут неприличного? — переспросил он, пожимая плечами. — Я тебя знаю не первый день. Бываю у вас в доме. И мама твоя меня знает. А теперь вот и с сестрой ее познакомился. Не понимаю, зачем ты все так усложняешь?

— А ты упрощаешь! — ответила я, и это было все, что я нашлась ответить.

Он понял, что победил, чуть улыбнулся и сказал:

— Судя по всему, хороший, тихий городок. Как Торжок.

— При чем тут Торжок?

— Ну... «Закройщик...». Помнишь? С Игорем Ильинским.

— Ничего не помню, — буркнула я.

«Люблю я его или нет?» — спросила я себя, когда осталась одна в комнате.

...Мы только что расстались с Анатолием, вместе ехали в автобусе, и теперь он вместе с нами шел сюда, к знакомому домику, окруженному зеленым свежепокрашенным забором-

штакетником. Он болтал без умолку, наверно, чувствовал смущение и хотел как-то заглушить его.

Я тоже ужасно волновалась.

Когда мы подошли к самой двери, я совсем не знала, что делать, и слова «Где же ты собираешься жить, Толя?» были уже готовы сорваться у меня с языка.

Но в этот момент дядя Егор неожиданно опустил мой чемодан на землю, повернулся к Анатолию:

— Ну, мы пришли. А вы что, тоже поблизости жить располагаете?

Я увидела, что Анатолий явно смутился, покраснел и ответил невнятно:

— Да нет... Я только так... проводить.

— Не имеете, значит, квартиры? — неожиданно вмешалась молчавшая до сих пор тетя Маша, и вопрос ее прозвучал сочувственно.

— Вот именно! — воскликнул уже энергично и даже с некоторой бравадой Анатолий. — Так сказать, бродяга беспачпортный.

— Бродяжить сейчас — дело пустое, — назидательно промолвил дядя Егор, — себе дороже обходится. А вот если с местожительством затруднение, то Марья поможет. Слышь, Марья, сведи молодого человека к Денисовым, они, кажется, в прошлом году дачников брали.

— Ну конечно, конечно! — захлопотала тетя Маша, обрадовавшись, что все так просто и благополучно разрешается. — Сейчас и пойдем! Они недалеко отсюда живут, Денисовы, и трех кварталов не будет. Вот только Верочку устроим...

— Верочку устраивать нечего, — прервал ее дядя Егор, — она домой приехала. И все для нее готово. А ты иди, время не теряй, молодой человек тоже с дороги отдохнуть, наверное, хочет...

Мы расстались. Уже на ходу Анатолий крикнул мне, что зайдет вечером, часов в семь.

...И вот теперь я сижу в своей маленькой комнатке на втором этаже, под самым чердаком, французы назвали бы ее «мансардой», и задаю себе все тот же мучающий меня вопрос: люблю я его или не люблю?

В моей «мансарде» метров восемь, не больше, железная кровать с никелированными шишечками, две табуретки, тумбочка, на ней кувшин с цветами, над кроватью на стене тканый коврик — по морю-окияну плывут лебеди, а на берегу стоит Бова Королевич, в кафтане и сапожках с острыми, загнутыми кверху носками, и смотрит на лебедей.

Я сижу на табуретке и гляжу в окно.

Еще совсем светло, да и времени-то немного — шесть с минутами.

Вещи свои я давно распаковала и развесила на вешалки-плечики. Повесила плечики на три вбитых гвоздя — вот и вся стенка занята.

А теперь я сижу у окна, опершись локтями в подоконник и подперев голову руками, наблюдаю за тем, что происходит на улице.

А там ничего особенного не происходит. Не спеша идут по своим делам люди, изредка проедет машина, чаще — таратайка или телега — таких теперь в Ленинграде и не увидишь, — с шумом и визгом промчится на самокате мальчишка — вот и все уличное движение.

Я сижу и хочу думать о том, как хорошо и спокойно здесь, в Белокаменске, и ничего не надо делать, и никуда не надо спешить, и так будет и завтра, и послезавтра, и еще много, много дней.

Мысленно повторяю, точно гипнотизирую себя: все волнения позади, впереди тихий, безмятежный отдых, но знаю, что все это уже не так.

С той минуты, как я увидела Анатолия в дальнем углу перрона, для меня все изменилось.

...Мы познакомились в прошлом году на проводах белых ночей. Случайно, нас никто не знакомил. Я терпеть не могу уличных знакомств, хотя понимаю, что этот факт сам по себе еще ничего дурного не означает.

А тут так получилось, что мы целой институтской компанией после кино поехали в парк, вечером, часов в десять. И мне взбрело в голову покататься на лодке. Все вместе мы спустились к лодочной станции, но там у окошечка стояла очередь. Небольшая, правда, человека четыре, но до закрытия станции оставалось очень немного времени. И было ясно, что до нас очередь не дойдет.

Мои спутники стали уговаривать меня бросить эту затею, пойти в кафе или ресторан.

Но я не двигалась с места и твердила, что хочу кататься на лодке, хотя сама понимала, что это глупое упрямство.

Ребята сердились, говорили, что я ломаю компанию, что мы достоимся здесь до того, что не попадем ни в кафе, ни в ресторан. А на меня точно нашло что-то. Я понимала, что они правы, что надежды получить лодку нет никакой, но повторяла, как попугай: «А я буду ждать».

— Ну и жди! — наконец со злостью крикнул мне кто-то, и все они стали подниматься по лестнице вверх.

Я поняла, что ребята не шутят, что через минуту и впрямь останусь одна, и уже готова была окликнуть их и побежать следом, но в это время услышала чей-то голос:

— Послушайте, девушка! Лодка вас ждет!

Я посмотрела по сторонам, чтобы увидеть эту счастливую девушку, но голос раздался снова:

— Я к вам обращаюсь, девушка в синем берете! Пожалуйста, это ваша лодка!

На мне и вправду был синий берет. Я посмотрела вниз, на воду, и увидела, что у причала колышется, слегка ударяясь бортом о сваю, маленькая лодка, а в ней стоит, широко

расставив для равновесия ноги, высокий, широкоплечий парень в голубой рубашке и серых фланелевых брюках.

Я нерешительно спустилась к причалу.

— Это ваша лодка, — сказал он, улыбаясь. Качнулся и, одной рукой ухватившись за сваю, подтягивал лодку к причалу, а другую протянул мне.

Я колебалась, не зная, что делать. Растерянно обернулась, но мои ребята уже скрылись из виду.

«А вот и поеду!» — упрямо сказала я себе и шагнула в неустойчивую, колеблющуюся на воде лодку.

...С этого все и началось. Иногда мы виделись часто, иногда реже, но не проходило недели, чтобы мы не встретились или не поговорили по телефону.

Однажды мне захотелось познакомить Толю с отцом, но из этого ничего путного не получилось. Отец мой — человек сухой, неразговорчивый и к людям подходит с какими-то старомодными, жесткими, ему одному понятными мерками. Мне даже странным кажется, что такой человек, как он, старый член партии, участник революционных боев, начисто лишен чувства романтики. Иногда я смотрю на него и думаю, что он вообще скорее похож на бухгалтера, чем на кадрового рабочего, мастера огромного цеха. Педант! Утром, в будни и праздники, встает всегда в одно и то же время, минута в минуту; газета должна ждать его аккуратно сложенной, и никто не смеет к ней прикасаться — ни я, ни мама, пока он ее не прочтет; обед, когда отец приходит с работы, должен уже стоять на столе, а щи — он почти всегда ест на первое щи — должны быть горячими, как кипяток... Докторов отец не признавал, а если, случалось, заболевал, то лечился травами, которые мать всегда хранила в пакетиках на отдельной полке кухонного шкафчика...

Я кое-что рассказала Анатолию о моем отце, и он пришел, так сказать, уже подготовленный. Наверное, поэтому и решил польстить отцу и затеял какой-то разговор о революции. При этом, кажется, сказал, что «я всегда жалею, что не пришлось жить в то время...».

Отец все молчал, насупившись, и тогда Толя спросил, приходилось ли ему непосредственно участвовать в штурме Зимнего.

Отец сухо и коротко ответил, что в ту ночь и близко к Зимнему не подходил, а по заданию ревкома стоял за Нарвской, часовым у склада с оружием, и никаких происшествий с ним не случалось.

Анатолий стал горячо и пространно доказывать, что суть не в том, где именно находился в ту ночь человек, а в сознании, что он участвует в общем революционном деле. Потом спросил отца, что он думал, когда стоял на посту. А тот, сощурив глаза, как всегда, когда сердился, ответил, что в ту ночь был сильный мороз и думал он о том, догадаются ли товарищи принести ему тулуп или нет.

Словом, разговора у них не получилось, и я предложила Толе пойти в кино.

Когда я вернулась, отец не спал и спросил:

— Это что же, ухажер твой, что ли?

Я смутилась и ответила, что, во-первых, терпеть не могу этого мещанского слова, а во-вторых, не понимаю, чем Толя ему не понравился.

— А кто тебе сказал, что не понравился? — ответил отец, пожал плечами и добавил: — Говорит только много. Лет-то ему сколько?

— Двадцать три.

— Что ж, может, и обойдется, когда обкатку пройдет, — с усмешкой сказал отец.

Я обиделась, сказала, что Толя не болтун, не маменькин сынок, а студент, будущий архитектор, член комитета комсомола в институте, и если уж на то пошло, то затеял он весь разговор просто из вежливости.

— А-а, это он мне, значит, уважение хотел сделать... А я, дурак, и не понял, — снова сощурясь, сказал отец.

— Ты, видно, многого не понимаешь, — сказала я в сердцах и отвернулась.

Я была уверена, что отец сейчас сердито оборвет меня, потому что не терпел, если я говорила с ним или с матерью без должного почтения, но вместо этого он неожиданно положил руки мне на плечи, повернул к себе, пристально посмотрел в глаза и ушел в свою комнату.

И тогда я поняла. Все поняла! Он просто боялся потерять меня. Боялся, что настанет день и я уйду с Анатолием... Если бы он знал!.. Ведь я никогда не признаюсь ему, что люблю Анатолия, люблю и... боюсь его потерять! Мне даже самой себе страшно признаться в этом.

...Вдруг точно что-то толкнуло меня, и я с испугом взглянула на часы. Половина седьмого. Он обещал прийти в семь. Еще полчаса!..

Что ж я мудрю, зачем задаю себе все эти смешные, риторические вопросы: «Люблю — не люблю»? Разве я не понимаю, что когда сержусь на Анатолия, даже делаю вид, что без него мне будет лучше, то все это в целях самозащиты, чтобы обмануть его, не дать ему до конца понять, что я тряпка безвольная, готовая ради него на все.

Когда я сердилась на него там, на перроне, когда убеждала себя в том, что устала от него, — все это неправда, я обманывала и себя и его.

А правда в том, что я боюсь потерять Толю. И знаю, что потеряю, потому что его увлечение мною ненадолго. Он никогда не захочет связать свою жизнь с моей и будет прав. Он красивый, умный, сын известного ленинградского архитектора, любой девушке будет лестно внимание такого парня. А кто я? Как говорится,

ничего особенного, талантов никаких. И, как часто напоминает отец, «если бы не Советская власть», то и в институт бы не попала, осталась бы швеей или прислугой на всю жизнь.

И если бы Анатолий ушел от меня, перестал бы встречаться со мной, наверное, мне было бы легче. Я уговорила бы себя, убедила бы, что так и должно быть.

Нет, наверное, не убедила бы... Я ведь пробовала. Представляла себе, что Анатолия нет, совсем нет, и старалась уговорить себя, что без него мне легче и лучше.

Но не могла уговорить. Не могла ни когда была одна, ни тогда, когда рядом был Алеша Звягинцев.

Впрочем, с Алексеем мы редко встречались. Я не хотела этого. Часто не подходила к телефону, когда он звонил. Правда, он два или три раза бывал у нас дома, случалось, ходила с ним в театр. Только очень редко. А он звонил и звонил... Иногда мне хотелось ему сказать: «Не надо, Алеша, не надо!..»

Ну, конечно, я сама виновата. Вначале мне было интересно с ним. Мы познакомились вскоре после войны с белофиннами. Мне хотелось узнать как можно больше об этой войне. Хотелось представить, смогла бы я выдержать, если бы пришлось в ней участвовать. Я слушала его рассказы и пыталась вообразить, увидеть все это как бы наяву. И думала: нет, мне этого никогда бы не выдержать — холода, ветры, смерть, поджидающая тебя за каждым сугробом...

А он, Алеша, воспринял все это совсем иначе. Ему показалось, что мое отношение к нему совсем иное. Сперва мне это даже в голову не пришло. Я поняла это только там, в парке, на скамье, когда он попытался обнять меня.

Да, конечно, я сама во всем виновата. Мне надо было сразу сказать ему, что это совсем другое, что наши отношения должны быть только дружескими, иных между нами не может быть...

Но... как-то язык не поворачивался, боялась обидеть. А вот матери моей он нравится. Однажды, когда я в очередной раз попросила ее подойти к телефону и, если звонит Алеша, ответить, что меня нет дома, она рассердилась. Сказала: «Вот сейчас возьму и все расскажу! Врет, мол, она! И бросьте вы ей звонить! Такой человек, майор, самостоятельный, не женатый! Да любая девка...»

А я только рассмеялась в ответ. Я знала — он хороший человек, Алеша. Но Анатолий заслонил для меня всех. Я люблю его и всегда боюсь, что вижу его в последний раз. Боюсь, что он уйдет и уже не вернется...

...Но он не уходит. Вот и сюда, в Белокаменск, приехал.

Я снова посмотрела на часы, сорвалась с места и стала торопливо переодеваться, — он должен был прийти через десять минут...

Они сидели в кино, в маленьком, летнего типа зале и смотрели картину, которую и он и она видели уже по нескольку раз.

Фильм назывался «Петер». Забавная история девушки, современной наивной Золушки, которая волею обстоятельств и собственного очарования пробивается к благополучию и соединяет свою судьбу с красивым, немного легкомысленным молодым доктором.

Все было так, как и должно быть в маленьком провинциальном кино. Занявшие первые ряды мальчишки звонко чмокали губами, когда герои — он и она — целовались, все — и мальчишки и взрослые — дружно топали ногами, когда рвалась лента.

И все неотрывно следили за событиями на экране, где развертывалась чужая, занятная жизнь, отраженная в зеркальных витринах магазинов, в стеклах элегантных автомашин, в до блеска начищенных ботинках прохожих.

Когда раздались звуки знаменитого танго, которое комично танцует героиня, переодетая в мужской костюм, танго, уже давно ставшего непременным «боевиком» на всех советских танцплощадках и в ресторанах, Анатолий положил свою широкую ладонь на Верино колено.

Она вздрогнула, но не отодвинулась, не стала убирать его руку, даже не прошептала обычное «не надо». Она просто не смогла этого сделать, у нее не было для этого сил. Ей было и приятно и тревожно, гораздо более тревожно, чем там, в Ленинграде, потому что здесь, в этом городке, они были по-настоящему вдвоем и как бы отгорожены от всего света.

Вера нерешительно положила свою ладонь сверху на кисть его руки, еще не зная, для того ли, чтобы отодвинуть ее или, наоборот, как-то ответить на прикосновение. Но, уже почувствовав тепло его руки, поняла, что не сделает ничего для того, чтобы перестать ощущать это тепло. Так бывало и раньше. Он обнимал ее в темноте кинозалов, целовал, когда прощались, но тогда чувство безопасности не покидало ее.

А теперь все ощущалось иначе...

Наконец фильм кончился, в зале зажгли свет. Они вышли на улицу. Около кинотеатра толпились люди, ожидая начала следующего сеанса.

— В третий раз смотрю эту чепуху, — сказал Анатолий, — и в третий раз с удовольствием. Даже зло берет. А ты какой раз смотришь?

— Тоже третий, — ответила Вера. — Очень хорошая актриса Франческа Гааль. Только трудно себе представить, что это происходит в Германии.

— Что именно?

— Ну вот вся эта жизнь... И люди такие мирные, остроумные, доброжелательные...

— По-моему, фильм снимался не в Германии, а в Австрии.

— Ну, в Австрии, в газетах пишут, тоже не

сладко. Впрочем... Знаешь, о чем я сейчас подумала? А что, если мы что-то преувеличиваем?

— В каком смысле?

— Может быть, все, что там происходит, не затрагивает... ну как бы это выразить, весь народ? Где-то что-то громят, кого-то бьют, истязают, а народ этого и не слышит и продолжает жить своей жизнью. Ну вот той самой, которую мы сейчас видели. Неужели так может быть?

— Во-первых, то, что мы сейчас видели, не народная жизнь, — назидательно сказал Анатолий. — Если говорить всерьез, то этот самый «Петер» не что иное, как типичный мелкобуржуазный фильм. Хотят посеять иллюзию, что счастье доступно каждому...

— Ты не ответил на мой вопрос.

— А на твой вопрос ответить очень легко. Преуменьшать опасность и массовость фашизма — значит впадать в серьезную ошибку.

— Я не впадаю в «серьезную ошибку», — с добродушной иронией сказала Вера, — просто мне интересно, может ли так быть. Совершается что-то страшное, необычное, а рядом течет спокойная жизнь. И между тем и этим — как бы стена.

— Разумеется, для обывателей жизнь всегда...

— Очевидно, ты прав, — сказала, прерывая его, Вера.

На главной улице шло гулянье. Люди медленно двигались по тротуару, толпились возле сатуратора с газированной водой, у бочки с квасом, встречали знакомых и останавливались с ними посреди тротуара, заставляя других гуляющих идти в обход, шныряли мальчишки, засунув в рот леденцы-петушки так, что снаружи торчала лишь одна палочка, невидимый репродуктор обрушивал на город потоки музыки — попурри из песен Дунаевского...

Теперь они проходили мимо тира. Он располагался чуть поодаль от тротуара, на пустыре, похожий на кукольный театр из-за своих ярко освещенных раскрашенных мишеней.

У барьера толпились ребята.

— Давай постреляем? — неожиданно предложил Анатолий.

«Что за ребячество!» — подумала Вера, но Анатолий уже тащил ее к барьеру, который при ближайшем рассмотрении оказался широким прилавком, как в магазине, и приговаривал:

— Ты никогда не видела, как я стреляю, нет? Никогда? Сейчас посмотришь!..

Анатолий протянул рублевую бумажку сидящему на табурете по ту сторону прилавка человеку и сказал:

— На все. Кутить так кутить.

Человек поднялся — Вера заметила, что одна его нога была деревянная, — покопался в большой картонной коробке, стоявшей возле, на полу, и высыпал в подставленную Анатолием ладонь пригоршню маленьких темно-серых пулек. Затем он подал ему винтовку.

— Ну, кого для тебя убить? — спросил Анатолий, резким движением ломая винтовку надвое и загоняя патрон в ствол. — Зайца?

Вера посмотрела на мишень. Казалось, что там, метрах в десяти от них, жил своей собственной жизнью какой-то странный, диковинный мир. Скалил зубы фашист с черной, паукообразной свастикой вместо сердца. Задрав хвост, куда-то со всех ног удирал заяц. Стоял на задних лапах бурый медведь. Распластав крылья, парил в голубом небе орел. Над неестественно зелеными зарослями летели утки. В стороне отплясывал гопак батька Махно.

— Не надо зайца, давай лучше фашиста, — сказала Вера.

— Смерть фашизму! — весело откликнулся Анатолий и вскинул винтовку.

Затихшие ребята настороженно глядели на него. Щелкнул выстрел. Фашистская свастика — сердце — повернулась и упала, переместившись теперь на живот фигурки в зеленосером мундире.

Анатолий опустил винтовку и, улыбаясь, повернулся к Вере.

— Ну, а теперь кого? Впрочем, знаю, — он рассмеялся, — ты предпочитаешь классовых врагов.

Он перезарядил винтовку, поднял ее и выстрелил, почти не целясь. Папаха на голове волосатого Махно откинулась в сторону.

— Вот это да! — восхищенно проговорил один из толпившихся у барьера мальчишек. Они поплотнее окружили Анатолия.

— Ну, а теперь кого? Всех подряд?.. — спросил он. — У меня еще целых восемь патронов осталось.

— Знаешь что, пойдем лучше гулять. В голове шум от этих выстрелов, — сказала Вера, боясь признаться, что ей стало совсем по-детски жалко этих аляповатых мишек, зайцев и птиц, которым теперь предстояло стать мишенями для Анатолия.

— А патроны? — в замешательстве спросил он.

— А патроны отдай ребятам. Они тоже хотят пострелять. А денег нету. Верно, ребята?

— Идея! — воскликнул Анатолий и ткнул пальцем в кучку пулек, лежащих на прилавке. — Налетайте!

Несколько пар ребячьих рук быстрее молнии метнулись к прилавку...

— Ну, как, — с улыбкой спросил Анатолий, когда они вышли из тира, — талант?

— Дай бог, чтобы этот талант никогда тебе не пригодился, — тихо и как-то по-старушечьи горестно сказала Вера.

— Ты что имеешь в виду? — сразу посерьезнел Анатолий. — «Если завтра война»? К сожалению, война неизбежна. Это тебе даже

твой майор может подтвердить. — Последнюю фразу он произнес не без иронии.

Но Вера не обратила на нее внимания. Она вдруг подумала о том, что все последние годы слово «война» всегда произносилось рядом со словом «неизбежная».

Два точно приросших друг к другу слова: «война неизбежна»... Это уж как-то само собой разумелось. Она не помнила ни одной речи, ни одной посвященной международному положению газетной статьи, в которой не говорилось бы об опасности войны. Эта мысль пронизывала многие современные романы, кинокартины, наиболее популярные песни. К ней уже все привыкли. И казалось, если завтра вдруг объявят, что война началась, это уже не будет ни для кого неожиданностью.

— Чего ты замолчала? — спросил Анатолий.

— Не знаю, — ответила Вера. — Наверное, потому, что думала о войне. Ужасно, если она все-таки начнется. Мне кажется, что только теперь мы начинаем жить по-настоящему. И отец всегда так говорит. И мама. То разруха, то голод, то карточки... Того нет, этого не достать... А теперь все иначе.

— Ну, в тех витринах ширпотреба побольше, — сказал Анатолий.

— Ты про кино? Наверное. Только я себе не представляю, смогла ли бы жить так, как они. А ты?

— Я ее презираю, такую жизнь, — убежденно ответил Анатолий, — тупые мещане. Вчерашний день похож на сегодняшний. И завтрашний будет таким же. Все течет медленно, точно вода в узкой, мутной речушке... А знаешь, — сказал он, понижая голос, — мне иногда хочется, чтобы скорее была война.

— Ты что, с ума сошел?

— Нет, нет, я все понимаю... Любая война — это бедствие... Но мне кажется, что я быстро нашел бы в ней свое место. А что? Стрелять умею...

— Перестань!

— Конечно, все это звучит несколько... глупо, — сказал Анатолий. — И все же мне... ну, как бы тебе это объяснить, хочется настоящей борьбы, опасностей, что ли... Я понимаю, это звучит по-мальчишески. Но я говорю искренне. Мне иногда кажется, что, когда я окончу институт, все уже будет позади. Все главное будет уже построено, основные дела сделаны... Ты подумай только, сколько мы уже пропустили: Комсомольск — без нас, Кузнецк и Магнитка — без нас, Днепрострой — без нас. Все главное — без нас. Но уж война без нас не обойдется!

— Перестань, — снова сказала Вера.

Он умолк.

Вера тоже молчала. Но последние слова Анатолия дали толчок ее мыслям. Она подумала: «А что будет, если война?..» Раньше она никогда не размышляла об этом с такой тревогой. И если бы не недавние события, то, пожалуй, так и не смогла бы себе представить, что значит «война». В книгах, которые Вера читала, в кинокартинах, которые видела, нередко изображались войны — мировая и гражданская. Но та, первая, была далекой и какой-то нереальной. Казалось, что в ней участвовали совсем другие люди, не похожие на тех, среди которых жила Вера. Они были знакомы ей лишь по старым, альбомным фотографиям, усатые, бородатые, одетые так, как никто уже не одевается сегодня... Города и села, где жили эти люди, дома с длинными широкими вывесками частных владельцев, улицы с комичными, точно надутыми воздухом неуклюжими фигурами городовых, нечесаные, обутые в лапти крестьяне — все это казалось Вере чем-то театральным, столь же далеким от нее, как и все то, о чем она читала в учебниках истории.

Гражданская война была ей ближе: в ней участвовал отец, о ней нередко вспоминали дома. Однако и эта война представлялась Вере далекой, канувшей в вечность, как и весь тот, опять-таки известный ей только по книгам и кинофильмам мир с беспризорниками, ночующими в котлах для варки асфальта, вокзалами, переполненными мешочниками, товарными поездами с едущими на крышах вагонов людьми, лихо мчащимися на конях буденновцами и с белогвардейскими офицерами, любезно щелкающими портсигарами, предлагая папиросы захваченным в плен красноармейцам перед тем, как начать их пытать...

Недавние события на Карельском перешейке придали в сознании Веры слову «война» конкретную осязаемость, потому что теперь уже не какой-то, едва знакомый ей город, а ее родной, сегодняшний Ленинград еженощно погружался во тьму и лишь вчера окружавшие ее люди уходили на фронт...

Любое несчастье воспринимается человеком тем сильнее, чем больше он может потерять. Сейчас Вера переживала свою первую настоящую любовь. И мысль о том, что немедленным следствием новой войны будет то, что она потеряет Анатолия, казалась ей страшной и нестерпимой.

Может быть, она так настойчиво, так подробно расспрашивала несколько месяцев назад Алексея Звягинцева о недавней войне потому, что подсознательно хотела понять, сможет ли она и во время войны не расставаться с Анатолием, быть там, где придется быть ему.

А в том, что он, Анатолий, в первый же день войны окажется на фронте, Вера не сомневалась.

...В эту минуту Анатолий, то ли интуитивно почувствовав тревогу, охватившую Веру, то ли продолжая свои мысли, убежденно сказал:

— В общем-то, в ближайшее время никакой войны не будет.

— Почему ты так уверен? — поспешно спросила Вера, которой в этот момент больше всего на свете хотелось услышать такие слова, которые погасили бы внезапно охватившую ее тревогу.

— Да потому, что Гитлер побоится сейчас полезть к нам, — убежденно ответил Анатолий.

— Отец недавно был на совещании в горкоме, — понизив голос, сказала Вера, — там говорили, что все может случиться.

— Ну, это в порядке бдительности! У нас тоже недавно было комсомольское собрание, выступал полковой комиссар... Но для каждого, кто разбирается в политике, ясно, что пока что войны не будет. Ты сообщение ТАСС-то читала?

— Да. Я читала, — тихо сказала Вера.

— Ну так вот! Такие вещи зря не публикуют, — уверенно сказал Анатолий.

Он взял Веру под руку. Его твердо произнесенные слова, его прикосновение успокоили Веру. В самом деле, чего она вдруг всполошилась? И почему зашел разговор о войне? При чем тут война? Все тихо и мирно. Анатолий рядом. Впереди много хороших, радостных дней...

— Куда мы идем? — спросила Вера, когда они свернули с главной улицы и пошли по плохо освещенному, уходящему вниз переулку.

— К реке, — как-то слишком уж беспечно ответил Анатолий, — тут есть чудесная речка. Я уже днем успел искупаться. Знаменка. Знаешь?

Еще бы ей не знать! Тихая, ласковая речка. Сейчас метров сто вниз, потом направо и еще раз направо. Только берег там довольно высокий, обрывистый. А если пройти подальше, то станет пологим, песчаным.

Вера украдкой взглянула на часы. Половина одиннадцатого.

— Послушай, Толя, уже поздно, — сказала Вера, и голос ее неожиданно прозвучал просительно, даже жалобно.

— Ну что же? — весело откликнулся Анатолий. — Папы, мамы дома нет, некого бояться...

Он шагал чуть впереди Веры, ведя ее за руку.

Они шли в темноту, к обрывистому берегу реки. Вера знала этот путь, в прошлые годы не раз ходила здесь одна. Но то было днем, а сейчас надвигалась ночь, и небо было беззвездным, все сильнее дул ветер, и как-то внезапно похолодало.

— Куда мы идем? — снова спросила Вера.

— К реке... посидеть, — ответил Анатолий, и голос его прозвучал неожиданно глухо, с затаенным волнением.

Внезапно он остановился и сказал:

— Здесь!

Он с размаху опустился на землю, потянув за руку Веру, она тоже села, до боли оцарапав себе колено о какую-то колючую ветку, и в то же мгновение он обнял ее и крепко прижал к себе.

— Не надо... Толя! — прошептала Вера, слегка отталкивая его от себя.

— Нет, надо, надо! — услышала она его хриплый голос. — Я устал от всего этого, пойми, устал. Ты или не любишь меня, или не веришь...

— Нет, нет, я люблю, я верю, — беззвучно говорила Вера.

Внезапно ей стало страшно. Но это был новый, доселе еще незнакомый страх, безотчетный, смешанный с приближением чего-то неотвратимого.

— Толя, Толенька, подожди, подожди! — воскликнула она.

И вдруг она почувствовала, что свободна. Еще мгновение назад ей казалось, что она заключена в клетку, зажата в невидимых жарких стенах. А теперь стены точно упали, порыв холодного ветра обдал ее всю, с головы до ног...

— Ну хорошо, — услышала она отчужденный голос Анатолия. — Хорошо. Пусть так. Отсюда и досюда. Все точно. Все размерено. Это и называется любовью...

Он был по-прежнему здесь, рядом, но произносимые им слова, казалось, звучали откуда-то издалека.

— Нет, Толя, нет, — с отчаянием сказала Вера, — ты не прав. Я люблю тебя, у меня нет никого ближе тебя, я просто боюсь, что ты уйдешь...

— Уйду? — с недоумением переспросил Анатолий, и Вера почувствовала, как раздраженно передернулись его плечи. — А... ты вот о чем...

— Нет, нет! — Она схватила его за плечи, точно желая удержать. — Ты не понимаешь меня. Просто я боюсь этого, боюсь, можешь ты меня наконец понять!..

Неожиданно Вера почувствовала, как что-то сжало ей горло, она разрыдалась.

— Вера, Верочка, что с тобой, что с тобой? — повторял Анатолий не то испуганно, не то сочувственно. — Ну хорошо, прости меня, не будем торопить время...

— Нет, нет, — прервала его Вера, — пусть все будет, пусть, я не хочу, чтобы ты думал, что я боюсь тебя, что я на что-то рассчитываю, пусть все будет, пусть!..

Она обвила руками его шею и судорожно притянула к себе. И почувствовала, как его ставшие такими большими ладони прикрывают ее тело.

Внезапно Веру ослепил яркий свет. Двое парней стояли совсем рядом. Один из них держал в руках карманный фонарик.

От неожиданности Вера резко оттолкнула Анатолия, все еще не видя ничего, кроме бьющего в глаза яркого, резкого луча света. Раздался громкий, преувеличенно громкий, наглый смех.

Но в следующую минуту он неожиданно оборвался, потому что Анатолий бросился на парня, стоявшего ближе к нему. Фонарик упал и теперь лежал на земле, как огромный светляк. В стелющемся по земле луче стебли травы казались неестественно большими и толстыми. Они дрались молча, остервенело, но недолго. Потом Вера услышала шум падения, всплеск воды и снова смех, на этот раз короткий и прерывистый.

— Толя, Толя! — закричала Вера.

Луч фонарика снова взметнулся вверх, потом переместился в сторону, вниз, и Вера увидела, что Анатолий стоит по колено в воде.

— Толя, Толя! — в отчаянии звала его Вера, только сейчас обнаружив, что в двух шагах от нее обрыв, вскочила на ноги, сделала движение вперед, к обрыву...

Один из парней грубо схватил ее за плечо и сказал со смехом:

— Зачем он вам нужен, девушка, такой... мокрый?..

— Я тебе сейчас покажу, сволочь! — раздался снизу голос Анатолия.

Потом снова послышался звук падения. Видимо, Анатолий пытался вскарабкаться вверх по обрыву, но поскользнулся и снова упал.

Те двое засмеялись. Вера не видела их лиц, слышала только голоса, их наглый смех. Сама не сознавая, что делает, она резко повернулась и с размаху попыталась ударить парня по лицу. Но не попала, — парень легко увернулся, снова скользнул лучом фонарика по Анатолию — тот теперь растерянно стоял на узкой кромке берега, и потоки воды стекали с него, — потом снова перевел луч на Веру.

— Брось ты ее, Кильтя, — лениво сказал второй парень, — не стоит возиться.

Внезапно свет фонаря погас, и Вера услышала, как хрустят ветки под удаляющимися шагами.

— Развесь своего миленка на вешалке, пусть сохнет! — раздался уже издали голос. И снова смех. Потом все смолкло.

— Толя, милый, как ты? — крикнула Вера.

Она услышала его медленные, чавкающие шаги по отмели.

— Толя, подожди, я сейчас спущусь к тебе! — едва не плача, произнесла Вера, безрезультатно пытаясь отыскать в темноте пологий спуск.

Молчание. Никакого ответа. Только удаляющиеся шаги там, внизу.

— Толя, Толя! — с отчаянием крикнула она еще раз.

Анатолий не отвечал. Злясь от стыда и унижения, он молча и быстро шел по берегу.

Начался дождь. Все сильнее дул холодный ветер. Но Анатолий шел и шел по берегу, не разбирая дороги, стараясь как можно скорее уйти от этого места...

Она была уверена, что утром он непременно придет. Но он не приходил. Вера знала, где живет Анатолий, но заставить себя пойти к нему не могла.

Ночь она провела без сна. Ей казалось, что она все еще стоит под безжалостным лучом фонаря, беззащитная, видная всем и отовсюду.

Об Анатолии она думала со смешанным чувством жалости и обиды. Понимала, что должен был переживать он, стоя по колено в воде, весь облепленный тиной, под градом насмешек тех хулиганов.

И все это ему пришлось пережить из-за нее...

Да-да, она понимает: раздражение, мужское самолюбие, чувство беспомощности, комичная пошлость всей ситуации... И все же как он мог уйти, оставить ее одну на берегу, ночью!.. А если бы те парни вернулись?..

Да, ей было жалко его, жалко себя. Лицо Веры охватывал жар стыда, как только она вспоминала о том, что произошло. Но заставить себя пойти к Анатолию не могла.

«Он придет, — говорила себе Вера, — не может не прийти. Не может не понимать, как я сейчас себя чувствую. Он придет!»

Но Анатолий не приходил.

...Вера прождала его все утро, потом не выдержала, сказала себе, что пойдет на реку, надела купальник под платье, сложила вещи в сумку — халат, резиновую шапочку, полотенце, вышла из дому, но к реке не пошла. Сама того не сознавая, она направилась к той улице, где жил Анатолий, в надежде встретить его случайно. Нет, не встретила. Она издали посмотрела на дом, где поселился Анатолий; он показал ей его еще вчера, когда они шли по городу после кино, — маленький, одноэтажный деревянный домик, легко отличимый по водопроводной колонке, черневшей рядом...

Она постояла минут двадцать, наблюдая за домом, но никто не показывался на двухступенчатом резном крыльце, никто не входил в этот домик, никто не выходил из него.

До ушей Веры донесся далекий стук, точно удары дятла, и прошло несколько мгновений, пока она сообразила, что это уличный репродуктор передает сигналы точного времени.

Она машинально посмотрела на свои часы. Без минуты одиннадцать. Только одиннадцать!.. Это ее немного успокоило. Еще рано. Незачем так волноваться. Может быть, он только что встал или даже еще спит. А может быть, недавно вышел из дому, и они разминулись.

Вера повернулась и пошла обратно. Но не к реке, а домой. Она подумала, что Анатолий может прийти как раз в тот момент, когда ее не будет дома, прибавила шаг, заторопилась.

Теперь в невидимых репродукторах звучала песня. Мужской голос старательно выводил: «Любимый го-ор-од может спа-ать спокойно...»

«Как это глупо, что радио гремит здесь с утра до вечера», — раздраженно подумала Вера. Эта мысль пришла ей в голову только сейчас. Вчера она просто не прислушивалась к звукам, доносившимся из репродукторов. А теперь вспомнила, что и в прошлые годы радио звучало здесь весь день, с утра и до полуночи. Так, видимо, было заведено. Песни, лекции, пьесы — все подряд...

Через десять минут она была снова в своей комнате. Нет, никто не приходил, никто ее не спрашивал.

Внезапно Веру осенила горькая догадка: «Он уехал!» Еще сегодня утром уехал в Ленинград. То, чего она боялась все эти месяцы, наконец случилось. Ему все надоело. Он уехал. Он решил уехать еще вчера там, на берегу. Вера посмотрела на часы. Без четверти двенадцать. Его нет. В тоске она легла на кровать, зарыла лицо в подушку, чтобы ничего не видеть, ничего не слышать. Но яркий, острый, как кинжал, луч фонарика, казалось, пробивался сквозь подушку и слепил ей глаза.

Все страдания, которые по разным поводам приходится переносить человеку в течение всей его жизни, относительны, и подлинную их глубину можно понять лишь в сравнении.

И если бы Вера могла хоть отдаленно представить себе то, что ей предстоит пережить в самом ближайшем будущем, то все, что она ощущала сейчас, показалось бы ей не горем, а даже радостью.

Да, она воспринимала бы как счастье и это впервые обрушившееся на нее любовное потрясение, потому что оно случилось еще в «той» жизни, еще в те дни, когда небо казалось ей безоблачным, порядок жизни разумным и неизменным, когда о больших, общенародных горестях и лишениях вспоминали лишь в прошлом времени, связывая их с далекими уже гражданской войной, интервенцией, разрухой.

И хотя жизнь страны, в которую вплеталась, как одна миллионная, и жизнь Веры, была далеко не безоблачной — ее сложности и противоречия будут много лет спустя пытаться осознать и объяснить люди, — для Веры и для миллионов ее современников эта жизнь представлялась окрашенной в светлые тона созидания.

В глазах людей отражались отблески огней первых пятилеток. Социальная гордость, готовность жертвовать собой во имя общего дела, сознание, что они стоят в первых рядах борцов за переустройство мира на новых, справедливых началах, определяли их поступки...

Жить стало лучше и веселее, с этим были согласны и старые и молодые.

Нет, это не были годы изобилия, людям еще многого не хватало. Но пожилые могли сравнивать. На их глазах ушла в прошлое карточная система, а с нею и пустые, украшенные лишь банками желудевого кофе и муляжами ветчинных окороков витрины, бесконечные очереди за хлебом и картошкой, в которые надо было становиться с раннего утра... Жить стало лучше.

Жить стало веселее, и это первой почувствовала молодежь, заполняющая бесчисленные танцплощадки, там и сям открывающиеся кафе. Летом по вечерам из окон домов неслись звуки патефонов, на эстрадах гремели джаз-оркестры... И казалось, что так будет всегда, что с каждым годом жить будет лучше и веселее.

И хотя в последнее время к этому ощущению все чаще и чаще примешивалось чувство тревоги, связанное с угрозой войны, оно не заглушало, не могло заглушить в людях уверенность, что завтрашний день будет лучше, светлее, богаче, чем сегодняшний.

Так думала, в это верила и Вера.

Ей еще не с чем было сравнивать свое сегодняшнее маленькое горе, и поэтому оно казалось ей огромным и непоправимым.

«Я тоже поеду, — сказала себе Вера. — Я тоже вернусь в Ленинград. Мне нечего делать в этом скучном, пошлом, жестоком городишке».

«Ну, а если он все же не уехал? — подумала она с надеждой. — Нет, все равно. Тогда уеду я».

Она вскочила и стала торопливо снимать с плечиков свои платья. Потом вытащила из-под кровати пустой чемодан, раскрыла его...

Снизу послышался звук открываемой двери. Это, наверное, тетя Маша вернулась с рынка. Только бы она не поднялась наверх, не увидела бы Верины сборы...

Вера застыла недвижимо. Пусть тетя Маша подумает, что ее нет дома. Пусть займется хозяйством, затопит плиту, начнет звенеть кастрюлями, посудой. Тогда под шумок можно будет и уложиться.

Но пока внизу было тихо.

С улицы в открытое окно доносился голос радио: «Белокаменский строительный техникум начинает прием заявлений от желающих поступить...»

Слово «строительный» снова вернуло ее мысли к Анатолию — ведь он учился в институте гражданских инженеров. Наверное, сейчас он уже едет в поезде, который ушел из Белокаменска в семь тридцать утра. Вера всегда возвращалась этим поездом домой, в Ленинград. Кажется, есть еще и другой, более поздний. Вот этим поездом она и поедет сегодня. Нет, не для того, чтобы увидеть Анатолия там, в Ленинграде. Она никогда больше не увидит его. Никогда! Сумеет себя перебороть. Завтра же начнет заниматься, готовиться к следующему учебному году. Летом хорошо в публичке. Залы полупустые...

И точно в насмешку, над ней из громкоговорителя донеслась песня. Пел хор, слыши-

мость была плохая, но слова «В путь-дорожку дальнюю» Вера легко различила.

«Что ж, в путь так в путь!» — с горечью повторила про себя Вера, взяла с кровати одно из платьев и бросила его в раскрытый чемодан.

Снизу донеслись знакомые звуки — удары ножом-секачом по полену: тетя Маша готовила растопку для плиты, — потом шаркающие шаги, звуки расставляемой на плите кухонной посуды...

Радио смолкло, но Вера даже не заметила этого. Она поспешно бросала в чемодан свои платья, белье, купальные принадлежности, полная угрюмой решимости забыть обо всем, что случилось, забыть о человеке, в котором заключался источник всех ее радостей и мучительных сомнений, подвести черту и начать новый этап жизни. И если бы кто-нибудь сказал ей сейчас, что через две, нет, через одну минуту не только она, Вера, но и миллионы людей на всем необозримом пространстве страны будут вынуждены подвести черту под своей предыдущей жизнью и начать ее новый этап, тревожный, страшный, полный мрачной неизвестности, то Вера просто пожала бы в недоумении плечами.

Занятая своими мыслями, механически укладывая вещи, она даже не расслышала падающих, как лавина, первых слов диктора:

— Внимание!.. Внимание!.. Говорит Москва... Работают все радиостанции Советского Союза...

...Выскочив на улицу, Вера поразилась. Ничего не изменилось. Сияло солнце. Были открыты двери магазинов. Сидел на табурете возле своей тачки мороженщик в несвежей, помятой белой куртке-халате. Правда, если бы у Веры было время приглядеться к улице, то она заметила бы перемены: люди не шли по тротуару, а стояли. Их головы были повернуты в ту сторону, откуда неслись звуки репродуктора. Говорил Молотов. Но Вера даже не дослушала его речи. О том, что немцы напали на Советский Союз, было сказано им с самого начала.

Она бежала к дому, где жил Анатолий. «Может быть, он еще там, не уехал!» — стучало у нее в висках. Но тогда они должны быть вместе! В такую минуту они должны быть рядом. Все их размолвки — это чепуха, глупость, пылинки в сравнении с надвигающейся на всех страшной бедой. Они должны тотчас же вместе ехать домой, в Ленинград.

Уже задыхаясь, Вера подбежала к маленькому одноэтажному домику, перепрыгнула разом обе ступеньки крыльца, толкнула дверь.

Она была заперта. Вера громко, двумя руками стала стучать. Наконец дверь открылась, на пороге стояла немолодая грузная женщина с полотенцем в руках.

— Простите, я хочу узнать... — прерывистым от бега и волнения голосом заговорила Вера. — Анатолий... студент из Ленинграда... у вас живет?

— Кто? — растерянно спросила женщина, и Вере показалось, что она хотя и смотрит на нее, но ничего не видит перед собой.

...Анатолий лежал в крохотной, похожей на закуток комнатке, где умещались только кровать и стул. Его лоб прикрывало свернутое в узкую полосу полотенце.

— Это ты? — произнес Анатолий, не поворачивая головы.

— Что с тобой, Толя? — спросила Вера испуганно.

— Ничего. Здоровенный бугай схватил воспаление легких. — Он говорил устало и зло, и дыхание его было тяжелым и хриплым.

Все еще не отдавая себе отчета в том, что произошло, Вера опустилась на стул и дотронулась до полотенца, лежащего на его лбу. Оно было сухим и теплым. Вера сняла полотенце и положила руку на его горячий и влажный лоб.

— У тебя высокая температура, Толя! — воскликнула Вера.

— Выше некуда, — усмехнулся Анатолий, — врач сказал — тридцать девять и восемь. Помоги, я сейчас встану... Я знал, что ты придешь и поможешь...

Он положил руки на Верины плечи и попытался приподняться.

— Нет, нет, лежи, тебе нельзя вставать при такой температуре, — настойчиво сказала Вера, снимая его руки со своих плеч, — ты должен лежать!

— Ты... ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь! — крикнул Анатолий. — Неужели ты не слышала радио?! Я должен немедленно ехать в Ленинград!

— Мы поедем завтра, — сказала Вера, прижимая его плечи к подушке. — Завтра у тебя спадет температура, и мы поедем.

— Позови хозяйку, скажи, чтобы дала мою одежду, — сказал, не обращая внимания на ее слова, Анатолий.

Вера вышла в соседнюю комнату. Та женщина теперь сидела за столом, опустив голову, и Вере снова показалось, что мысли ее далеко отсюда и она по-прежнему ничего не видит перед собой.

Вера вернулась и растерянно пожала плечами.

— Все равно, — сказал Анатолий, — я должен...

Он не докончил фразу, охваченный приступом жесткого, судорожного кашля.

Потом кашель прошел. Теперь Анатолий лежал обессиленный, на лице его выступила испарина.

— Я должен ехать... — чуть слышно произнес он, — все это чепуха... Я немедленно должен ехать...

VI

В середине июня 1941 года командование Ленинградского округа проводило тактические учения.

Они происходили на Севере, недалеко от Мурманска. Это направление, так же как и Карельский перешеек, оставалось для войск округа важнейшим операционным направлением.

Звягинцев был среди тех штабных командиров, которые по приказу командования еще в первых числах июня выехали на Север, чтобы подготовить все необходимое к началу учений.

Однако, уже прибыв на место, Звягинцев получил от своего начальства новое указание. Ему было приказано отправиться в Выборгский укрепленный район и принять все необходимые меры к скорейшему окончанию монтажа артиллерийских систем в новых, железобетонных оборонительных сооружениях. Вместе с начальником штаба УРа подполковником Гороховым Звягинцев все дни и большую часть ночей занимался проверкой боеготовности дотов и дзотов, качества работы строительных и саперных батальонов, памятуя главное, полученное им указание о необходимости как можно скорее закончить монтаж.

День 17 июня Звягинцев и Горохов провели, как обычно, вместе, инспектируя объекты. Белые ночи были уже в разгаре, поэтому рабочий день затягивался. Когда Звягинцев и Горохов попрощались, чтобы встретиться рано утром, часы показывали полночь.

Звягинцев вернулся в отведенную ему комнату в командирском общежитии, снял гимнастерку и, по армейской привычке подпоясав себя полотенцем, взял мыльницу и зубную щетку, собираясь идти в умывальню. Но в это время в его комнату постучали. Звягинцев открыл дверь и оказался лицом к лицу с красноармейцем, который, отступив на шаг и вскидывая руку к надвинутой на лоб пилотке, доложил, что подполковник Горохов просит товарища майора немедленно прибыть в штаб.

Звягинцев недоуменно пожал плечами, однако ответил коротко: «Доложите, сейчас буду», — снова натянул гимнастерку, затянул ремень и вышел из дома.

Подполковник ждал Звягинцева в своем кабинете и, как только тот появился, сказал:

— Вот какая петрушка случилась, товарищ майор, — вы уж извините, что спать не дал... Звонили мне сейчас от пограничников. Зовут срочно к себе. Там их человек на ту сторону ходил, а теперь вернулся. Любопытные вещи рассказывает... — Горохов побарабанил пальцами по столу и повторил: — Куда как любопытные!.. Вот я и подумал, сейчас вы здесь старший штабной командир из округа. Не худо бы и вам этого человека послушать. С пограничниками я договорился — не возражают...

Звягинцеву не хотелось ввязываться в дела, которые не касались его по службе. Однако настойчивость Горохова его насторожила. Он не мог не знать, что пограничники, как и все, кто работал в системе Наркомата внутренних дел, обычно ревниво оберегали от посторонних все, что было связано с делами их компетенции.

Он бросил короткий, испытующий взгляд на подполковника. Тот был явно взволнован. Тонкая ниточка его пробора, всегда тщательно расчесанного в любое время дня и ночи, когда Звягинцеву приходилось видеть Горохова, сейчас сбилась куда-то в сторону, исчезла в волосах, спутанных на макушке.

— Хорошо, — коротко сказал Звягинцев и встал. — Я готов.

...Вызванная подполковником «эмка» за пятнадцать минут доставила их в расположение пограничников. Штаб размещался в одноэтажном здании из красного кирпича. Часовой, очевидно, был предупрежден о приезде командиров и, пропуская их, сказал Горохову вполголоса:

— Полковник приказал, чтобы вы сначала к дежурному прошли.

Дежурный, младший лейтенант с красной повязкой на рукаве, вскочил из-за стола.

— Сейчас доложу, товарищ подполковник, одну минуту...

Они присели у дощатого стола, на котором лежала толстая книга в коричневом, конторском переплете — для записи дежурств, шахматная доска, несколько потрепанных экземпляров журналов «Пограничник» и «Огонек».

Вскоре дверь открылась, и на пороге появился невысокий, грузный полковник. Горохов и Звягинцев встали.

— Прибыли? — сказал полковник, кивнул Горохову и остановил свой взгляд на Звягинцеве. Тот представился.

— Что ж, пойдемте, послушайте, — сказал полковник. — О секретности, думаю, предупреждать не надо, — добавил он, обращаясь главным образом к Звягинцеву. Он еще с минуту постоял на месте и пробормотал, ни к кому не обращаясь, точно про себя: — Голос мне его не нравится...

Затем он махнул рукой, приглашая следовать за собой.

В кабинете полковника на большом, старомодном письменном столе стояла канцелярская лампа под зеленым стеклянным абажуром. Свет лампы падал на стол, и поэтому Звягинцев не сразу разглядел сидящего неподалеку человека.

Когда Звягинцев и Горохов вошли, этот человек встал.

— Сиди, сиди, Тойво, — сказал полковник с каким-то особым вниманием, даже лаской. — Товарищ подполковник — наш армейский сосед, а майор — из штаба округа... Присаживайтесь, товарищи, — добавил он, указывая на стоящие у стены стулья.

Теперь Звягинцев мог рассмотреть того, кого полковник называл просто по имени: «Тойво».

Это был человек лет пятидесяти, низкого роста, в крестьянской одежде, с невыразительным, блеклым лицом, на котором белесые брови были почти неразличимы. Казалось, все на этом лице — губы, нос, брови — намечено лишь пунктиром. Такое лицо совершенно не запоминалось. Его трудно было восстановить в воображении.

Полковник сел в деревянное кресло за столом.

— Так вот, Тойво, — сказал он, придвигая к себе блокнот, — давай начнем сначала. Пусть товарищи тоже послушают. Итак...

— Там... немцев много, — сказал после паузы Тойво.

У него был тихий голос, такой же невыразительный, как и лицо. Пожалуй, среди остальных обычных, ничем не примечательных голосов этот голос мог выделяться лишь своим финским акцентом.

— Нет, нет, — сказал полковник, — ты давай, товарищ Тойво, по порядку. Район, время — словом, все, как мне рассказывал.

— Район Рованиеми, — все так же тускло сказал Тойво, — много немцев. Много легковых машин.

— Сколько? — прервал полковник.

— У здания бывшей школы, на стоянке, двенадцать. Шоферы военные. За тридцать минут наблюдения подъехали и уехали еще десять машин.

«Что могло этому полковнику не понравиться в его голосе? — с недоумением подумал Звягинцев. — Голос как голос. Обычная речь карельского крестьянина».

— Так что же, по-твоему, в этой школе?.. — снова спросил полковник.

— Штаб, — ответил Тойво.

— Допустим. Но какой штаб? — вмешался Горохов.

— Не знаю.

— Так. Хорошо. Попробуем определить сами, — сказал полковник, бросая острый взгляд на Звягинцева. — Итак, у здания на стоянке двенадцать легковых автомашин. Примерно столько же за тридцать минут подъезжало к подъезду. Офицеров немецких видел?

— Да. Одиннадцать за тридцать минут. Входили и выходили. Три обер-лейтенанта. Два полковника. Один генерал. Звания других не различил.

— Тоже офицеры?

— Да.

С каждым новым словом Звягинцев все внимательнее прислушивался к тому, что говорит этот невзрачный на вид человек. Он представил себе такого Тойво на улице финского городка, как он стоит, прислонившись к стене, и, почти неразличимый на ее фоне, смотрит вперед своими бесцветными, пустыми глазками из-под белесых бровей и, казалось, ничего не замечает, а на самом деле видит все.

— Что же ты еще обнаружил, Тойво? — спросил полковник.

— Два мотоцикла фельдсвязи. Оба подъехали к зданию.

— В течение тех же тридцати минут? — спросил Звягинцев.

— Да.

— Одновременно?

— Нет. С перерывом. Сначала один. Через десять минут другой.

— Послушай, Тойво, — сказал, перегибаясь к нему через стол, полковник, — а ты не преувеличиваешь все это? Ну, машины, количество офицеров?..

— А вам хочется, чтобы я преуменьшил? — неожиданно сердито, точно ударом хлыста, отпарировал Тойво.

«А у него и впрямь неприятный голос», — подумал Звягинцев, до этого мгновения и не подозревая, что у одного и того же человека может так меняться манера говорить.

Казалось, что и полковник был несколько смущен таким суровым отпором.

Он закашлялся, вытянул из лежащей на столе пачки «Беломора» папиросу, размял ее пальцами, сдавил мундштук посредине, закурил.

— Ну ладно, — примирительно сказал полковник, — раз так, значит, так. Спасибо тебе за важные сведения. Сейчас иди отдыхай. К утру, возможно, товарищи сверху подъедут, еще послушать захотят. А пока иди спать. Еще раз спасибо тебе...

Когда они ехали обратно в машине, Горохов спросил Звягинцева:

— Ну, майор, как думаешь?

Звягинцев пожал плечами:

— Сведения о концентрации немецких войск в Финляндии не новость. И в Норвегии их тоже хватает.

— Так, — сказал Горохов, стряхивая мизинцем пепел с зажатой большим и указательным пальцами папиросы, — не новость, значит...

До штаба они ехали молча.

— Хочу тебе пару вопросов задать, товарищ майор Звягинцев, — сказал Горохов, когда они вышли из машины. — Но сначала должен заметить, что этому человеку пограничники верят, как самим себе. Он опытный разведчик и к тому же член партии. Ясно?

Горохов сказал это таким тоном, будто вызывал Звягинцева на спор.

Но тот слегка развел руками и ответил:

— Что ж, им виднее. Разведка не моя профессия.

— Оно и заметно, — с легкой усмешкой заметил Горохов, — потому что если бы разведка была твоей профессией, ты не стоял бы вот

так, как ни в чем не бывало. Ладно. Вот мои вопросы, — не тебя, себя проверить хочу. Ты район Рованиеми знаешь?

— Чисто географически, — слегка обиженно ответил Звягинцев.

— Я про географию и говорю. В скольких километрах этот район от границы, представляешь?

— Полагаю, километрах в сорока.

— В двадцати пяти, — поправил Горохов. — Второй вопрос: если верить этому Тойво, — а я ему верю! — как бы ты определил уровень штаба, который разместился в той самой школе? Ну?

Звягинцев мысленно восстановил все, что сказал Тойво, прикинул про себя и сказал нерешительно:

— Может быть и штаб дивизии.

— Подымай выше, — сказал, наклоняясь к Звягинцеву, Горохов, — корпуса! Генерал, два полковника, два десятка машин, мотоциклы фельдсвязи... Корпус, я тебе говорю!

— Что ж, не исключено, что и корпус, — нерешительно согласился Звягинцев.

— А если не исключено, — понижая голос и еще ближе придвигаясь к Звягинцеву, сказал Горохов, — то я хочу задать тебе третий вопрос, так сказать, сверх условленных. Какого хрена штабу немецкого корпуса понадобилось располагаться столь близко от нашей границы, а?

И он посмотрел в упор на Звягинцева тяжелым, подозрительным взглядом.

Неожиданно Звягинцев почувствовал, что его охватывает чувство тревоги.

— Это и в самом деле странно... — проговорил он как бы про себя.

— То-то и оно, — удовлетворенно произнес Горохов. — Так что же делать?

Звягинцев вопросительно посмотрел на подполковника, точно хотел сказать, что не понимает вопроса. Он и в самом деле был несколько озадачен.

— Полагаю, что пограничники донесут наверх шифровкой, — сказал наконец Звягинцев.

— Умно! — с ядовитой усмешкой воскликнул Горохов. — Значит, говоришь, шифровочку толкнуть. Что ж, это, конечно, будет сделано. Пограничники службу знают. Через час наверняка уйдет.

Звягинцев пожал плечами.

— Чего же ты хочешь от меня? — спросил он.

— А вот что, — сказал Горохов, придвигаясь ближе к Звягинцеву. — Ты коммунист, верно? Так вот, дай мне слово, что, когда в округ вернешься, явишься к командующему и лично ему доложишь обо всем, что слышал. Лично! Можешь добавить, что этот Тойво — член партии с девятнадцатого года. Сделаешь?

— Постараюсь, — ответил Звягинцев.

— Ну, тогда иди спать. И прости, что потревожил. Завтра когда начнем? В семь, как обычно?

— В семь.

— Ну, бывай. Еще раз извини.

Звягинцев пошел было к двери, но вернулся.

— Послушай, — сказал он, — а ты понял, почему полковнику голос этого Тойво не понравился?

Горохов помолчал, покачал головой и ответил:

— Думаю, что понял. Слишком уверенный. Не оставляет места для сомнения.

...Звягинцев медленно пошел к общежитию. Было светло, как днем. В призрачном свете белой ночи все здания, стоящая у штаба черная «эмка», телеграфные столбы, радиомачта казались резко очерченными, подсвеченными невидимыми лучами.

Звягинцев посмотрел вдаль, в сторону границы. Он хорошо знал, сколько дотов и дзотов, сколько бетонных укреплений сосредоточено и в лесу, и среди хаоса огромных гранитных валунов.

Знал Звягинцев и о том, сколько сил и средств было затрачено на эти похожие на кочки, на большие муравьиные кучи возвышения, венчающие подземные сооружения из бетона и металлической арматуры.

Однако ему хорошо было известно и другое: по новому плану прикрытия границы, разработанному лишь месяц-полтора назад, этих сооружений должно быть гораздо больше.

Правда, для строительства еще оставалось время, — план предусматривал окончательное приведение границы в боеготовность, полное ее, как говорится, закрытие к концу года, что ж, за четыре-пять месяцев можно еще очень многое сделать!..

«А что, если война начнется раньше?» — спросил себя Звягинцев. И тут же чувство тревоги, такое же, как то, что он ощутил во время рассказа Тойво, вновь охватило его...

Работа над осуществлением плана создавала боевую атмосферу во всех штабах — от окружного до полкового. Но, как ни странно, она же, эта работа, как бы гипнотизировала всех, кто в ней участвовал, ее исполнителей...

«Мы же работаем, все время работаем, не спим, не благодушествуем! — говорил себе Звягинцев, стараясь заглушить тревогу, вызванную всем тем, что сообщил Тойво. — Что же мы еще можем делать, кроме того, чтобы дни и ночи напряженно работать над укреплением наших границ?.. Разве мы беспечны? Да и кто вообще в нашей стране может быть беспечным?..»

Он усмехнулся, подумав об этом. Со школьных лет, с тех пор, как Звягинцев стал понимать подлинный смысл разговоров взрослых, с тех пор, как начал читать газеты, он привык к тому, что все в стране были заняты прежде всего работой. Работа всегда оказывалась на пер-

вом месте. Она отнимала все время, кроме сна. Ей жертвовали свои выходные дни. Ей посвящались не только газетные статьи, но и романы и кинофильмы...

Звягинцев вспомнил своего умершего несколько лет назад отца. Токарь высокой квалификации, он сумел окончить втуз без отрыва от производства и последние два года своей жизни работал начальником цеха большого станкостроительного завода.

В те редкие моменты, когда все трое — отец, мать и он, Алеша, — садились вместе за стол, отец говорил только о производстве. Если цех не выполнял плана, это переживала вся семья. Если план выполнялся, дома был праздник. Казалось, что от выполнения плана цеха зависело все — не только настроение отца, не только атмосфера в доме, но и вообще все, что окружало Алешу, жизнь всей страны...

И теперь воспоминания детства и ранней юности снова всплыли в сознании майора Звягинцева, переплетаясь с теми тревожными мыслями, которые были связаны уже с днем сегодняшним...

Вот ведь как все получается, размышлял Звягинцев. Когда директор крупного завода получает важный и срочный правительственный заказ, он начинает думать только о том, как бы выполнить этот заказ в предусмотренный срок.

Вся его деятельность, все его мысли сосредоточиваются на этом. И те, от кого зависит в конечном итоге выполнение заказа, — начальники цехов, мастера, бригадиры, рабочие — тоже сосредоточивают все свои усилия только на одном: выполнить задание в срок.

И тогда никто из них — от директора до рабочего — уже не думает о том, что ситуация может измениться, что тем, кто дал этот заказ заводу — главку, наркомату и в конечном итоге государству, — данная продукция неожиданно может понадобиться быстрее, чем это предусматривает план.

И все они, от директора до рабочего, живут уверенностью, что главное в том, чтобы выполнить план в срок, что ущерб стране может быть нанесен лишь в случае нарушения этого срока.

А пока работа идет по графику, все будет хорошо и ничего не может случиться.

«Не под таким ли гипнозом плана находятся сейчас и десятки генералов, тысячи старших командиров, строевики, политработники, инженеры, саперы, строители Ленинградского военного округа?» — спросил себя Звягинцев.

Нет, к мысли о возможности войны все они возвращались не раз.

И все же сознание, что завершение плана назначено лишь на конец 1941 года и что, таким образом, в их распоряжении есть еще несколько месяцев, заглушало тревогу...

В те дни Звягинцев еще многого не знал — не знал, что в штабы самых различных уровней шли донесения разведок — агентурных, наземных, авиационных. Эти донесения были полны тревожными сообщениями о концентрации немецких войск на советских границах. Они, эти донесения, не оставлялись без внимания, нет, их следствием были новые подхлестывания: торопили промышленность — чтобы быстрее производила необходимую военную технику; торопили окружные штабы — чтобы быстрее эту технику внедряли, быстрее производили работы по укреплению границ. Однако любые проявления чрезмерной тревоги, предложения, связанные с крупными передвижениями войск, осуждались, ибо нельзя было давать повод для провокации, — так сказал Сталин.

И если е г о план предусматривает определенный срок, то ничто раньше этого срока случиться не должно, не может. «Ему виднее...» И в только что опубликованном сообщении ТАСС было сказано, что отношения между СССР и Германией развиваются нормально.

Всего комплекса противоречий, объективных и субъективных трудностей, естественно, не мог в то время понять, проанализировать не только командир невысокого сравнительно ранга, каким был Звягинцев, но и те, кто занимал гораздо более значительные посты.

...И сейчас, стоя на залитом белым, призрачным светом небольшом плацу перед штабом Выборгского укрепленного района, Звягинцев не мог полностью отдать себе отчет в сложном и драматическом сочетании столь противоречивых факторов. Каждый раз, когда в сознании его мелькала до боли острая, режущая мысль о возможности внезапного нападения, она тонула в потоке других, связанных с практическими делами, с выполнением порученной ему работы. Опасение, что война может разразиться не сегодня-завтра, растворялось в десятках конкретных забот — о минах, которых все еще было мало, о строительстве головных складов близ границы, о мобзапасе.

Однако на этот раз в сознании Звягинцева возник новый фактор, заставляющий его, пожалуй, впервые подумать о грядущей войне не как о событии, хотя и ближайшего времени, неизбежном, но все же не завтрашнем, но как о реальной, надвигающейся страшной беде, которая могла обрушиться на страну ежеминутно.

И этим новым фактором была встреча с Тойво. То, что немцы концентрируют свои войска в Финляндии и Норвегии, для Звягинцева не было, разумеется, новостью — об этом неоднократно говорилось на многих оперативных совещаниях в штабе округа.

Но слышать человека, побывавшего на «той стороне», ему довелось впервые.

И теперь, после разговора с Гороховым, оставшись наедине с собой, Звягинцев уже не мог совладать с нахлынувшим на него ощущением надвигающейся неотвратимой беды.

«Да, — думал Звягинцев, — не надо быть ни разведчиком, ни крупным оператором, чтобы знать, в каких случаях штаб корпуса, да к тому же не финских, а немецких войск располагается в столь непосредственной близости к границе. Трудно было бы найти военного человека, который не ответил бы на вопрос: «Для чего так близко к границе выдвинут штаб корпуса предполагаемого противника?»

Да, разумеется, об этом надо немедленно сообщить. И не только в штаб округа, но и в Москву. Горохов сказал, что шифровка уйдет через час. Ну да, тому полковнику раньше не успеть — надо ведь составить донесение, поднять с постели шифровальщика...

И тем не менее Горохов прав — по прибытии в Ленинград надо немедленно пойти к командующему. Разумеется, к тому времени — срок командировки Звягинцева кончался через неделю — командующий уже прочтет шифровку пограничников. А ему, Звягинцеву, может сделать замечание, чтобы не лез в чужие дела, когда хватает своих. И все же он пойдет и скажет все, что слышал.

Звягинцев медленно направился к себе, в общежитие комсостава. Еще через пятнадцать минут он уже лежал в постели, пытаясь заснуть: до утреннего подъема оставалось всего пять часов.

Но сон не шел. То ли из-за охватившего его нервного возбуждения, то ли потому, что в окна лился свет белой ночи, но заснуть Звягинцеву не удавалось.

Белая ночь вызывала у него теперь отвращение. Звягинцеву вдруг представилось, что из-за этого противоестественного дневного света все оказывается на виду. Все — и его недостроенные доты, и склады, и расположение частей, да и сам он, Звягинцев, — всё как на ладони, со всех сторон видное врагу.

Он лежал и думал. И, начав размышлять, он уже не мог заснуть, потому что одна мысль цеплялась за другую, как бы вытекала из нее, в свою очередь порождая третью...

Звягинцев посмотрел на часы — было около двух.

«Надо прекратить эти бесцельные размышления и постараться все же уснуть».

...Но проспать до утра Звягинцеву так и не удалось.

Стук в дверь разбудил его. Звягинцев прежде всего бросил взгляд на часы — было всего лишь половина четвертого — и недовольно спросил:

— Кто там? В чем дело?

— Товарища майора Звягинцева к телефону! Ленинград вызывает! Срочно! — раздался в ответ мальчишеский, без необходимости громкий голос.

Через несколько минут Звягинцев, натянув бриджи и накинув свой серый прорезиненный плащ прямо на нижнюю сорочку, снова вошел, почти вбежал в помещение штаба.

Снятая с аппарата телефонная трубка лежала на столе. Дежурный схватил ее и протянул Звягинцеву, как только тот появился.

Звягинцев дунул в микрофон, громко сказал: «Майор Звягинцев у телефона» — и тотчас же услышал знакомый голос заместителя начальника штаба округа полковника Королева:

— Возвращайся в Ленинград, майор! Быстро!

Через несколько часов, усталый, с красными от бессонной ночи глазами, с чемоданчиком в руке, так и не заезжая домой, Звягинцев вошел прямо в кабинет Королева, так как начальника инженерного управления, которому непосредственно подчинялся, в городе не было, а Звягинцев по своим обязанностям в управлении держал постоянную деловую связь с оперативным отделом штаба по инженерным вопросам. Он не видел Королева всего десять дней, но сразу заметил, что за это время что-то в нем изменилось.

Большой, грузный, но всегда подтянутый, чисто выбритый, туго перепоясанный, Королев на этот раз казался каким-то взъерошенным. Воротник его гимнастерки был расстегнут, а подворотничок не совсем свеж.

Королев стоял, склонившись над длинным, заваленным картами столом, выпрямился, когда вошел Звягинцев, хмуро кивнул ему в ответ на приветствие и, как будто они не расставались, недовольно спросил:

— Ты, надеюсь, помнишь разработанный вами в управлении план минных заграждений на случай экстренного прикрытия границы?

Звягинцева такое обращение несколько покоробило.

— В общих чертах, конечно, помню, товарищ полковник, — сухо и официально доложил он, удивляясь и виду и тону Королева, с которым считал себя в дружеских отношениях. — Но я только что прибыл из командировки, а план, как известно, хранится...

— Ладно, — прервал его Королев, — знаю, где находится. Понимаю, что в кармане не таскаешь. Садись.

Звягинцев послушно опустился на стул возле письменного стола.

Королев же подошел к двери кабинета, приоткрыл ее, снова закрыл и повернул торчащий в замке ключ.

Звягинцев с некоторым недоумением и тревогой следил за его движениями. И когда Королев подошел к столу и тяжело опустился в кресло, спросил:

— Что случилось, Павел Максимович?

— Ничего не случилось, — резко, даже, как показалось Звягинцеву, неприязненно ответил ему Королев. Но через мгновение добавил: — Ситуация хреновая, вот что случилось. Как там дела, на границе?

Звягинцев начал было перечислять состояние работ по монтажу артиллерийских систем, но Королев снова прервал его:

— Это все я и без тебя знаю! «Восемьдесят процентов готовности, шестьдесят процентов готовности», — передразнил он. — Я тебя не как сапера спрашиваю, как живого человека с глазами! Что-нибудь необычное на границе наблюдается?

— Вы, случаем, шифровку от тамошних пограничников не видели? — ответил вопросом на вопрос Звягинцев.

— Не видел. Наверное, по разведотделу прошла. А что за шифровка?

И тогда Звягинцев подробно рассказал все, что слышал от Тойво.

— Так, так, одно к одному... — сумрачно сказал Королев, когда Звягинцев умолк. Он потянулся к коробке «Северной Пальмиры», взял папиросу, сунул в рот, крепко зажал зубами и закурил. Потом выпустил густой клуб синеватого дыма и повторил задумчиво: — Одно к одному.

— Да не тяни ты, Павел Максимович, скажи наконец что-нибудь определенное! — попросил Звягинцев.

— А что я тебе скажу «определенное», что? — раздраженно отозвался Королев. — Финны сосредоточивают войска на границе. И немцы тоже. О том, что они из Норвегии своих солдат потихоньку в Финляндию перебрасывают, это нам не сегодня стало известно. А теперь вот получается, что не просто в Финляндию, а к самой нашей границе. И еще: немецкие торговые суда, следовавшие в Ленинград, повернули обратно, не заходя в порт.

— Я предлагаю немедленно доложить командующему о сообщении Тойво и...

— Зачем? — пожал плечами Королев. — Если шифровка получена, ее и так ему доложат. И в Москву передадут. К тому же генерал еще с учений не вернулся.

— Но важно время! — воскликнул Звягинцев. — Если бы командующий сам позвонил начальству...

— Не будет он звонить, — устало произнес Королев.

— Но почему?!

— Звонил уже. С учений. Доложил, что немецкие самолеты больно нахально летают. Пересекают границу...

— Ну а что ему ответили?

Королев настороженно поглядел на дверь и сказал, понизив голос:

— «Ты бы лучше, чем паниковать, огневой подготовкой занялся. Ни к черту она в твоем округе». Вот что ответило начальство.

Королев помолчал, бросил в пепельницу догоревшую папиросу, ударил ладонью по стеклу, прикрывавшему доску письменного стола.

— Ладно! В дела высшего командования лезть не будем. Не положено. А вот своим делом займемся. Иди и пиши шифровки о минных заграждениях. Напишешь, принесешь на подпись. Только быстро.

Звягинцев встал. Несколько мгновений он стоял как бы в нерешительности, затем сделал неуверенный шаг к двери.

— Ну? — недовольно произнес Королев. — Чего топчешься?

Звягинцев повернулся и снова подошел к столу.

— Павел Максимович, — негромко сказал он, — не темни. Скажи прямо: что-то случилось? Почему меня так срочно вызвали? На границе еще много неоконченных дел. Я не первый день в армии и понимаю, что если...

— Исполняйте, майор Звягинцев, — раздраженно сказал Королев.

Звягинцев круто повернулся.

— Подожди! — остановил его Королев, когда Звягинцев был уже у двери. — Пожалуй, ты прав, Алексей, — сказал он, почти вплотную подойдя к Звягинцеву, — темнить нечего. К тому же ты член партбюро штаба. Из наркомата пришла телеграмма. Предупреждают, что в ближайшие два-три дня возможны... провокации. Приказано на провокации не поддаваться, но быть в полной боевой готовности. Вечером в Смольном созывают партийный актив. Ну вот, теперь все. Иди.

VII

Лица, собравшиеся в кабинете рейхсканцлера, ждали Гитлера уже около получаса. Это были Геринг, Геббельс, фельдмаршал Кейтель, генералы Йодль, Браухич, Гальдер, несколько офицеров оперативного управления штаба вермахта, Розенберг, двое стенографов.

Фюрер прибыл с опозданием. Он произносил одну из своих запланированных на сегодня речей в западной части Берлина, увлекся, забыл посмотреть на часы. С тех пор как Германия стала подвергаться воздушным атакам англичан — они начинались обычно под вечер, — Гитлер решил заниматься пропагандистской деятельностью только в первую половину дня.

Частые выступления — в пивном ли подвале «Лёвенбрау», излюбленной аудитории фюрера, в берлинском ли «Спортпаласе» или в каком-либо другом месте — были его давней потребностью.

Теперь же, накануне «дня великого решения», они стали просто страстью.

Гитлер утверждал, что должен каждый день вглядываться в глаза своего народа, а народ, которому так скоро предстоит вступить в решающий бой, разумеется, не должен лишаться счастья каждый день видеть своего фюрера.

На совещание в имперской канцелярии Гитлер опоздал. Все вызванные были уже в сборе, когда он, ни на кого не глядя, вошел в свой кабинет, лишь на мгновение чуть припо-

дняв руку с откинутой ладонью в знак приветствия.

Он начал говорить тотчас же, не ожидая, пока вскочившие со своих мест люди вновь рассядутся. Это тоже в последнее время стало манерой Гитлера — начинать говорить чуть не с порога, подчеркивая тем самым нежелание тратить хотя бы минуту впустую.

Так и сейчас Гитлер быстро пересек кабинет, остановился у своего огромного письменного стола и, как бы продолжая уже начатую речь, сказал:

— Секретность должна быть абсолютной. Решение, которое вы сейчас услышите, детально продумано мною и должно стать определяющим в осуществлении плана «Барбаросса». Позднее штаб Йодля оформит его приказом... Итак... — Он сделал паузу и обвел всех присутствующих колючим взглядом. — Итак, первое, что необходимо усвоить всем, от генерала до солдата: война против России не может вестись по-рыцарски. Ее нельзя сравнивать ни с одной из войн в прошлом. Это будет война идеологических и расовых противоположностей. И вести ее надо беспрецедентным, безжалостным способом!

Эти два последних слова Гитлер подчеркнул резким взмахом руки.

Он сделал несколько шагов вперед и, подойдя почти вплотную к сидящим в креслах людям, сказал:

— Идеология, которую нам предстоит сокрушить, вырвать с корнем, уничтожить бесследно, не просто витает в воздухе. Нет! У нее есть конкретные носители. Их много. Но главные — комиссары. Это слово в большевистском обиходе имеет широкий смысл и свою историю. Но сейчас я имею в виду комиссаров Красной Армии. Не все они официально носят это имя. Немалая часть комиссаров действует под наименованием политруков, секретарей партийных организаций, офицеров так называемых политотделов, инструкторов и тому подобное. Так вот, мною принято кардинальное и безоговорочное решение. Оно гласит...

Гитлер скосил глаза на стенографов, увидел, что они пишут, не отрывая карандашей от бумаги, и медленно произнес:

— ...большевистские комиссары, как бы они ни назывались, должны быть физически уничтожены. Все. Поголовно.

Он сделал большую паузу, точно наслаждаясь мрачным смыслом только что прозвучавших слов, потом подошел к столу, повернулся лицом к собравшимся и бросил:

— Вопросы?

Вопрос задал педантичный Гальдер, начальник штаба сухопутных войск. Всем было известно, что он, невзирая на огромную загруженность оперативной работой военного времени, тем не менее регулярно ведет дневник. Изо дня в день. Людям Гиммлера доводилось два-три раза заглянуть в этот дневник. Они не нашли в нем ничего, кроме записей полученных приказаний, краткого содержания состоявшихся в течение дня бесед, упоминания о вечернем времяпрепровождении и часе отхода ко сну. Словом, ничего предосудительного.

Гиммлер с сардонической улыбкой назвал Гальдера «генерал-бухгалтером» и успокоился.

Сейчас Гальдер высказал свое полное одобрение плану Гитлера, «величественному и колоссальному, как и все начинания фюрера», но поинтересовался, как следует в дальнейшем объяснять некоторое неизбежное противоречие между этим планом и Гаагской конвенцией.

Гитлер передернул плечами и ответил, что Россия в конвенции участия не принимает и, следовательно, не имеет никаких прав в этой связи.

Это была ложь, потому что все, кто был мало-мальски знаком с международным правом, знали, что еще в 1918 году Советское правительство в официальном документе, подписанном Лениным, признало все женевские и гаагские конвенции. Но никто из присутствующих не промолвил об этом ни слова. Только Геббельс с места иронически заметил, что при наличии министерства пропаганды штабу сухопутных войск вряд ли следует отягощать свою деятельность заботами, не имеющими к нему прямого отношения.

Затем снова заговорил Гитлер. Он объявил, что с началом операций на Востоке необходимо ограничить функцию немецких военно-полевых судов. Отныне все действия немецких военнослужащих, которые в иных условиях могли бы считаться незаконными, не подлежат рассмотрению в этих судах. Деятельность военно-полевых судов должна сводиться к поддержанию дисциплины и безопасности немецких вооруженных сил, и только. Если любой русский так или иначе угрожает этой безопасности, то только дурак может настаивать на судебной процедуре. Этот русский должен быть попросту доставлен к немецкому офицеру, который единолично решит, виновен тот или нет. Если виновен, то наказание может быть только одно: расстрел.

Затем Гитлер отдал несколько важных распоряжений. Он объявил Гиммлера уполномоченным по решению «специальных задач», вытекающих из борьбы между двумя противоположными политическими системами, с правом действовать под свою личную ответственность и независимо от армии.

Геринг назначался уполномоченным по использованию всех экономических ресурсов Советского Союза для немецкой индустрии.

Розенбергу поручалось решение задачи несколько более отдаленной: разработка проекта государственного устройства России после окончания военных действий. И Гитлер, по-

дойдя к своему огромному глобусу, коротко изложил основные принципы, которые должны лечь в основу этого проекта. Проводя ребром ладони по поверхности глобуса, он объявил, что европейская часть России должна быть разделена на государственные протектораты, Украина превращена в буферное, союзное с Германией государство. Три балтийских государства и Белоруссия будут присоединены к Германии, а Кавказ с его нефтяными районами перейдет под управление немецкого уполномоченного.

Гитлер говорил еще долго короткими, рублеными фразами, резким, лающим голосом. То, что он излагал, не было новостью для людей, собравшихся здесь, в кабинете рейхсканцлера, в здании новой имперской канцелярии. Более того, и Геринг, и Гиммлер, и Геббельс, приглашенные сюда, — все они участвовали в разработке тех или иных частей изложенного фюрером плана. И тем не менее Гитлер не мог отказать себе в удовольствии в очередной раз явиться собравшимся в излюбленной им роли провидца и вершителя судеб мира...

Как правило, Гитлера считают невежественным человеком, и если слово «образованность» означает глубокие, систематические знания в какой-либо определенной области и бóльшую или меньшую ориентированность в других, то германский рейхсканцлер был, конечно, невеждой, поскольку ни в учебном заведении, ни самостоятельно не изучал какого-либо предмета последовательно и объективно. К этому следует добавить, что за всю жизнь он не прочел, пожалуй, ни одного романа, ни одной поэмы, во всяком случае, так утверждали приближенные к нему люди.

И все же невежество Гитлера было особого рода, поскольку он прочел много книг, главным образом по вопросам истории.

Это было беспорядочное, бессистемное чтение. Книги, имеющие несомненную научную ценность, чередовались со всевозможными пропагандистскими брошюрами или псевдонаучными изданиями безвестных авторов, рассматривающих историю человечества с точки зрения расистских, узкогеографических или мистических теорий.

Уже очень скоро интерес Гитлера к книгам стал носить отчетливо избирательный характер. Он стал вычитывать и запоминать в них — а память у него была прекрасная — лишь то, что прямо или косвенно могло бы служить подтверждением его, так сказать, любимых мыслей и целей. Это были мысли об избранности арийской расы — немцев прежде всего, о неполноценности рас других, о силе как решающем аргументе во всех исторических спорах. А цель сводилась к желанию утвердить господство Германии над остальным миром.

В своем стремлении завоевать весь мир Гитлер не был оригинален. Не он изобрел и расизм. Не ему первому принадлежала идея крестового похода против коммунизма.

Но никогда еще все эти замыслы и идеи не сплетались в единый клубок столь причудливо, как в голове Гитлера.

Разумеется, главным и решающим в поступках Гитлера была всегда логика империалиста. Даже в минуты высшего упоения властью он всегда помнил о том, кто ему эту власть вручил. Гитлер был мастером политического шантажа, хотя осуществление его интриг значительно облегчалось тем, что действовал он в атмосфере мюнхенской политики западных держав, используя их ненависть к коммунизму, к самому факту существования Советского Союза.

Однако каждое явление в социальной сфере обладает не только общими закономерностями, но и своей конкретностью.

И то, что Гитлер был далеко не первым в истории человечества претендентом на мировое господство, не может заслонить тех специфических его черт, которые, отнюдь не являясь решающими, тем не менее придавали его словам и поступкам мрачную маниакальность, характерную для совершенных им злодеяний.

Когда говорят о духовных истоках немецкого фашизма, нередко вспоминают Ницше, точнее, созданный им образ «белокурой бестии», «сверхчеловека», признающего лишь культ силы, попирающего общепринятые нормы поведения. Называют также имя Хустона Стюарта Чемберлена, англичанина, переселившегося в прошлом веке в Германию, автора книг, проникнутых идеями расизма.

Гораздо менее известно людям имя человека, влияние которого на Гитлера было несомненным. Этого человека звали Ганс Хёрбигер. Этим именем были подписаны письма одинакового содержания, которые летом 1925 года получали десятки, а может быть, и сотни немецких и австрийских ученых. Четыре строки в этом письме вызвали наибольшее возмущение адресатов. Вот они, эти четыре строки: «Отныне вам придется выбирать, с кем вы — с нами или против нас. Гитлер расчистит политику, а Ганс Хёрбигер сметет ложные науки. Символом возрождения германской нации будет доктрина вечного льда. Берегитесь! Становитесь в наш строй, пока не поздно!»

Ультиматум был встречен возмущением или насмешками, хотя автором письма отнюдь не был обыкновенный безумец. Ганса Хёрбигера в Германии многие знали. Знали, как он выглядит, шестидесятипятилетний великан с громадной белой бородой. Знали по имени: он обладал множеством различных дипломов и написал несколько книг. Он был автором входившей в моду в некоторых кругах теории. Она отрицала современную астрономию и математику. В ее основе лежали древние мифы.

Ганс Хёрбигер был создателем завораживающе-романтической абракадабры — так называемого учения о космическом льде «Вельтайслере», или сокращенно «Вель».

С начала двадцатых годов, после знаменитого мюнхенского «пивного путча», имя Гитлера приобрело относительную известность. О нем часто писали в немецких газетах, его имя изредка упоминалось и в прессе мировой. Его лозунги, его терминология, сколь по-разному ни относились бы к ним разные люди, касались проблем, находившихся в центре мировой политики, и поэтому вызывали естественный интерес.

Хёрбигера же знали только в Германии, для остального мира это имя не значило ничего. Его утверждения, что «наука — это декадентский фетиш» или что «математика — грошовая ложь», казалось, могли привлечь внимание лишь своей вопиющей абсурдностью. И уж конечно, вначале никому не приходило в голову устанавливать какую-либо связь между лжеученым, мистиком Хёрбигером, чья воспаленная мысль витала где-то в таинственных пространствах «вечного льда», и «барабанщиком»-практиком, требующим уничтожения Версальского договора, избиения евреев, марксистов и вооружения Германии. Никто не улавливал этой связи.

Впрочем, «никто» — все же преувеличение. По крайней мере, два человека эту поначалу неуловимую внешне связь ощущали. Одного из них звали Адольф Гитлер. Второй носил имя Генриха Гиммлера. Он был владельцем птичьей фермы и пока что скрывался в тени, которую отбрасывал первый.

Эти два человека еще тогда, в двадцатых годах, содержали своих личных астрологов, учеников Хёрбигера. Только много лет спустя история зафиксирует, что астролога Гитлера, по иронии судьбы, звали Фюрер. Это произойдет тогда, когда ему в официальном порядке будет присвоено нелепо звучащее звание — «полнообладатель математических, астрономических и физических наук».

Гитлер многому научился у Хёрбигера, если слово «научился» здесь уместно. Но и для последнего уроки Гитлера не прошли бесследно. Приверженцы теории вечного льда объединялись в группы, подобно штурмовым отрядам. И если их «Вель» кем-либо не воспринимался, они вколачивали его в слишком трезвую голову кулаками и кастетом.

По удивительному, на первый взгляд, совпадению именно те владельцы фирм, которые финансировали Гитлера, один за другим стали объявлять «Вель» своей официальной идеологией. В то время как проповедники теорий Хёрбигера избивали ученых, называвших теорию вечного льда невежественным бредом, а сам мессия расклеивал в университетских аудиториях прокламации («Когда мы победим, вы будете стоять на мостовой с протянутой рукой!»), владельцы ряда банков, страховых компаний и заводов стали требовать от своих служащих специальной присяги, содержащей слова: «Клянусь, что верю в теорию вечного льда!»

Для тех, кто робко спрашивал, что это за «вечный лед» и имеется ли в виду Северный полюс или Антарктида, издавались популярные брошюры. В них туманно, но вместе с тем энергично излагался смысл этого таинственного учения. В одной из таких брошюр говорилось:

«Наши нордические предки стали сильными во льдах и снегах. Поэтому вера в космический лед — естественное наследство нордического человека. Австриец Гитлер изгнал еврейских политиканов. Австриец Хёрбигер выгонит еврейских ученых. Всем опытом своей жизни наш фюрер показал превосходство вдохновения над профессионализмом. Потребовался второй прозорливый, чтобы дать нам полное понимание космоса».

Трудно себе представить, что кто-либо мог до конца разобраться в этой мистической галиматье, в этой претенциозной смеси языческой проповеди и призывов к разбою.

Однако Гитлер почитал Хёрбигера и, слушая его проповеди, приходил в состояние экзальтации.

Среди откровений Хёрбигера было одно, которое Гитлер хорошо усвоил. Смысл его заключался в том, что роль науки должна сводиться лишь к обоснованию и подтверждению того, что иррациональным путем, как некое озарение, открылось «сверхчеловеку».

Эта мысль импонировала Гитлеру, поскольку ему было необходимо отучить людей мыслить логически, сопоставлять причины и следствия, анализировать явления. Вместо этого они должны были научиться лишь воспринимать, то есть безоговорочно верить в каждое произнесенное фюрером слово.

В состоянии наркотического опьянения человеком овладевают химеры. Гитлеру важно было добиться, чтобы люди постоянно находились в состоянии эвфории жестокости.

Решающим был далекий от романтики расчет — коммунизм как реальная сила и как идеология был для фашизма естественным врагом номер один, а геноцид всегда является неизбежным спутником борьбы за мировое господство. И все же для того, чтобы вовлечь миллионы людей в поголовное истребление целых народов, для того, чтобы ввести в будничный обиход крематории для живых, изобрести газовые камеры, требовалось не только объявить совесть человека химерой, но и постараться его от этой химеры избавить. Если вся научная история человечества была не больше чем интеллигентской выдумкой, заслоняющей историю «подлинную», с ее потопами, борьбой

стихий, переселениями народов, гигантами и рабами, если таковым было прошлое человечества, то почему не должно быть таким же и его будущее?

Закончив совещание в новой имперской канцелярии, Гитлер направился в Бергхоф.

В Берлине, в Нюрнберге он ощущал себя трибуном — барабанщиком, полководцем. Бергхоф же, расположенный в котловине, среди величественных альпийских гор, обычно настраивал Гитлера на торжественно-мрачный лад. Он представлялся себе как бы мрачным гением, недоступным взглядам смертных, верховным вершителем их судеб. Гитлер ехал в поезде — паровоз и два вагона, во втором размещалась охрана, и, сидя у широкого, в половину вагонной стены окна салон-вагона, снова и снова воспроизводил в своей памяти детали только что закончившегося совещания.

Сейчас Гитлер видел себя как бы со стороны. Он стоял у гигантского, на подставке из черного дерева глобуса перед группой неподвижно сидящих людей, устремивших на него свои взоры.

Гитлер прикрыл глаза, и ему показалось, что этот глобус вырос до размеров земного шара. Но внезапно перед его глазами вдруг встала другая картина. Неожиданно глобус уменьшился до своих обычных размеров, и около него стоял он, Гитлер, но только несоразмерно маленький, карлик с дергающимися в нервном тике усиками, комично жестикулирующий, брызгающий слюной.

Это был кадр из картины американского клоуна, жалкого комедианта по имени Чаплин. В прошлом году ему все же удалось выпустить в свет свою гнусную стряпню. Пустил ее в путешествие по экранам мира, несмотря на десятки, сотни тысяч марок, которые затратило немецкое правительство для подкупа многих американских чиновников...

Гитлеру докладывали, что комиссия по расследованию антиамериканской деятельности все же начала дело против этого подлого паяца, осмеявшего главу великой державы.

«Комиссии, конгрессы, парламенты!.. — мысленно произнес Гитлер, вкладывая в эти слова всю силу ненависти и презрения. — Порождение растленной, прогнившей цивилизации! К счастью, в большей части Европы с этим уже покончено».

Он усмехнулся, представляя себе, как несколько дюжих эсэсовцев крепко держат в руках извивающегося карлика, человечка с вывернутыми ступнями, в кургузом пиджачке и дурацком котелке. И он сам, Гитлер, наносит этому пигмею первый удар. Кулаком в морду. Ногой в пах...

Кулаки Гитлера невольно сжались. Несколько мгновений он наслаждался ощущением жестокой радости. Потом усилием воли прогнал, стер в своей памяти и этот подлый фильм, и образ комедианта-ублюдка.

Теперь перед его мысленным взором раскинулась огромная, никогда не виденная им воочию территория. Города, села, леса, горы, поля, люди. И все это было объято огнем. Пламенело небо...

В Бергхофе Гитлера ожидал Данвиц. Любимец фюрера уже получил разрешение принять участие в предстоящих грандиозных военных действиях. Через неделю ему предстояло отправиться в Восточную Пруссию, чтобы занять должность командира пехотного батальона в одной из частей сформированной группы армий с кодовым названием «Север».

Гитлер любил видеть возле себя людей, готовых повиноваться ему по первому слову, первому жесту, людей, чьи мысли и желания являлись как бы продолжением его собственных.

Данвиц был именно таким человеком, но Гитлер выделял его не только поэтому. Он видел в нем как бы идеальный продукт своей системы, своего воспитания.

Данвиц не играл никакой роли в высокой политике. Его мало кто знал. Но Гитлер не мог не заметить постоянного обожания в его глазах, молчаливой экзальтации при первых же обращенных к нему словах, его поразительной восприимчивости к туманно-мистическим проповедям, которыми время от времени разражался фюрер.

В страстной просьбе отправить его на фронт, скорее мольбе, с которой Данвиц обратился к Гитлеру, он увидел знамение времени. Он хотел видеть свою армию состоящей именно из таких людей, как Данвиц. Отправляя этого офицера на фронт, Гитлер совершал как бы символический акт — он посылал туда частицу самого себя, ничтожную, но все же частицу.

...Он пристальным, впивающимся взором оглядел одетого уже в военно-полевую форму Данвица, когда тот застыл на пороге его кабинета, выбросив вперед тотчас же неподвижно застывшую руку.

— Итак, ты едешь, Данвиц? — торжественно произнес Гитлер.

— Да, мой фюрер, — мгновенно перенимая интонации Гитлера, с той же мрачной торжественностью в голосе ответил Данвиц. — Я явился, чтобы проститься.

Он резко опустил руку, но все еще стоял неподвижно, держа фуражку с высокой тульей на согнутой руке.

Гитлер медленно встал и подошел к Данвицу.

— Что бы ты хотел услышать от меня на прощание? — спросил Гитлер.

— Только одно слово, мой фюрер: «Иди».

— Ты услышишь больше, чем одно слово.

В течение недавних трех часов Гитлер был

вынужден слушать сухие, лишенные воображения речи генералов и сам тогда играл только одну из своих излюбленных ролей — роль полководца, Цезаря, Наполеона и Мольтке, соединенных вместе, — его слова были категоричными, фразы короткими, реплики непререкаемыми. Теперь Гитлером овладело желание говорить долго и красноречиво.

Он жестом сделал знак Данвицу следовать за ним и пошел к широкому венецианскому окну. Весеннее солнце освещало альпийские вершины, кое-где покрытые снегом.

— Смотри, Данвиц, на эти горы, — громко сказал Гитлер. — Любуйся ими, ведь скоро тебе придется спуститься вниз. Вместе с миллионами моих солдат ты отправишься в темную, мрачную страну. Слушай, Данвиц, — откидывая назад голову, продолжал Гитлер. — Многие думают, что я хочу завоевать эту страну. Они ошибаются. Я хочу ее уничтожить. И кем бы ты ни стал на фронте — полковником или генералом, чем бы ты ни командовал — батальоном, полком или дивизией, главным для тебя должен оставаться этот мой замысел. Ты понял меня? Если нет, спрашивай. Я жду!

— Я думаю, что понял вас, мой фюрер! — глухо сказал Данвиц, не спуская глаз с Гитлера. — Я должен убивать врагов. Не щадить их в бою...

— Нет! — выкрикнул Гитлер. — Этого мало, мало! Я хочу стереть с лица земли это государство. Хочу, чтобы на месте Москвы и Ленинграда стояли озера, хочу физически уничтожить эту славяно-монгольскую расу, всю эту смесь азиатов, евреев, цыган, недочеловеков, возомнивших себя людьми! Ты можешь подумать, что не хватит снарядов и бомб? Но я уничтожу их не только снарядами и бомбами...

Правое плечо его начало подергиваться, белки глаз покраснели. Он приблизил свое лицо к лицу Данвица.

— Слушай, — хрипло сказал Гитлер, понижая голос, — мой великий план уже разработан. После того как мы разобьем большевистскую армию — на это уйдет несколько недель, — все продовольствие, все минеральные богатства России будут направляться только в Германию. В России начнется голод. Всеобщий, неумолимый голод. Он будет страшнее, чем чума. Погибнут миллионы. Но это входит в мой план. Выживут тысячи, может быть, десятки тысяч. Те, кто будет копаться в земле сохой и мотыгой. Те, кто будет обслуживать немецких господ. Ты понял меня, Данвиц?

Да, Данвиц понял. Он на все смотрел глазами своего фюрера.

Сейчас перед воспаленным мысленным взором Данвица раскинулось море крови. Он видел самого себя стоящим по колено в этом море, подобно Зигфриду, совершающему ритуальное омовение в черной крови поверженного им дракона.

— Я понял вас, мой фюрер! — торжественно заявил он.

Гитлер удовлетворенно кивнул и сказал:

— Разумеется, высшие командиры будут иметь необходимые инструкции. Но ты — мои глаза. Ты — мои уши. И если тебе станет известно о чем-то, что расходится с моими намерениями, ты должен немедленно известить меня. Я дам указания фон Леебу, чтобы твои донесения немедленно передавались.

Он сделал несколько шагов по комнате.

— Вся кампания займет, как я уже сказал, полтора месяца, максимум два, — как бы про себя произнес Гитлер, не глядя на Данвица, — после этого останутся, так сказать, детали. Создание администрации, мероприятия Гиммлера и так далее... Кое-кто пытается пугать меня русской зимой. Но мы не будем воевать зимой! — неожиданным фальцетом выкрикнул Гитлер. — Впрочем, — добавил он уже спокойно, — зима этого года будет в России мягкой.

— Это прогноз метеорологов? — нерешительно спросил Данвиц, которому не раз приходилось слышать о страшной русской зиме.

— К черту метеорологию! — снова яростно крикнул Гитлер. Он провел ладонью по влажному лбу, откинул назад прилипшую прядь волос. Затем сказал, понижая голос: — Мы вступаем в новый цикл. От вечного льда к циклу огня. Мои солдаты — это первые носители магического пламени. Зима падет перед нами ниц.

Он снова подошел к Данвицу и, казалось обращаясь не к нему, а к каким-то другим, невидимым слушателям, воскликнул:

— Нет, мы не будем воевать зимой! Русские не могут выдержать единоборства с немецкой армией больше, чем шесть недель. Я знаю это, знаю!

Он поднял руку с вытянутым указательным пальцем, как бы заклиная.

— Слушай, — продолжал он, снова обращаясь к завороженно смотревшему на него Данвицу, — ты убедишься в правде моих слов при первой же встрече с русскими. Испытай первого же захваченного в плен русского. Его стойкость. Силу его духа. Найди способ проверить это. И ты поймешь, что никто из них не в силах нам противостоять. Оказавшись с глазу на глаз с нами, все ничтожество их существа предстанет обнаженным. Вся их идеология, их преданность коммунизму — все, как шелуха, спадет, рассыплется, едва только над ними будет занесен меч национал-социализма. А теперь — в путь, майор Данвиц! Когда зазвучит труба, ты должен быть на месте, в первых рядах. Прощай!

VIII

Весь мир — в том числе почти все советские люди — был убежден, что Сталин живет в Кремле, в той самой небольшой трехкомнатной квар-

тире, которую описал в своей широко известной книге Анри Барбюс.

Но Сталин, хотя и имел квартиру в Кремле — под нее было переоборудовано помещение с толстыми стенами и высокими потолками в старом здании сената, — однако вот уже много лет фактически в ней не жил.

С начала тридцатых годов его постоянным и любимым домом была дача под Москвой, в местечке Волынское, рядом с Кунцевом.

Служебный кабинет Сталина находился на втором этаже того же здания, что и его кремлевская квартира.

Поэтому после работы — его официальный рабочий день заканчивался в семь-восемь часов вечера — Сталин спускался вниз пообедать.

Обед обычно затягивался — Сталин не терпел одиночества и редко возвращался домой один, — но тем не менее никогда не оставался ночевать в Кремле и часов около одиннадцати вечера вставал из-за стола, чтобы ехать в Волынское.

Длинные черные машины выезжали из Боровицких ворот Кремля. В одной из них ехал Сталин.

Там, где кончался город и Дорогомиловская улица переходила в Минское шоссе, машины устремлялись в левую, параллельную аллею.

Над въездом в нее висел «кирпич» — уличный знак, воспрещающий движение какому-либо транспорту.

Черные машины на повышенной скорости мчались по аллее, затем сворачивали налево, в другую аллею, перпендикулярную, затем — направо, в третью, ведущую в гору...

Подъем заканчивался у высоких деревянных сплошных ворот с «глазком». Они раскрывались при приближении машин так, чтобы те могли въехать без минуты промедления.

Здесь, вблизи Москвы, но вдали от ее шума, за высоким деревянным забором, к которому почти вплотную примыкал густой лес, стоял деревянный дом, в котором Сталин в последние годы проводил каждое утро, каждый вечер и ночь.

...В ту ночь он, как обычно, работал до половины третьего, сидя за длинным обеденным столом, один конец которого, заваленный бумагами и газетами, обычно заменял Сталину стол письменный.

Таков был его привычный рабочий распорядок — около трех часов ночи Сталин переходил в маленькую комнату, стены которой были точно такими же, как и в его кремлевском кабинете, — фанера, отделанная под мореный дуб, и выше — линкруст, — и ложился спать на софе, превращенной на ночь в постель. Рядом, на столике, стоял телефон — кремлевская «вертушка», но в это время ночи он им обычно не пользовался.

Он спал долго — часов до одиннадцати — двенадцати дня, затем вставал и шел в расположенную в саду беседку. Туда приносили завтрак, газеты и утреннюю почту.

В два часа дня кавалькада черных машин выезжала из ворот кунцевской дачи. В одной из них — никто не знал, в какой именно, — ехал Сталин.

Машины мчались по привычному маршруту и исчезали в Боровицких воротах Кремля.

Таков был распорядок дня Сталина, и поэтому он был обязателен для всех, с кем он общался или мог общаться, — для членов Политбюро, наркомов, военачальников.

Таков был этот распорядок и в субботу 21 июня 1941 года.

...В половине третьего ночи Сталин пошел спать. Получасом позже лег в постель, предварительно выслушав рапорт о проверке постов, и невысокий, грузный генерал, начальник личной охраны Сталина. Свет в окнах погас.

Когда в комнате начальника охраны раздался телефонный звонок, генерал услышал его не сразу. Он уже в течение многих лет привык к тому, что, когда Сталин ложился спать, время как бы останавливалось для всех. Никто из знающих его привычки не решился бы звонить сюда в это время суток.

Поэтому генерал спал крепко, а проснувшись, не сразу сообразил, что звонит именно телефон. Он недовольно поморщился, протянул руку к выключателю, зажег свет и посмотрел на часы. Стрелки показывали десять минут пятого. Со смешанным чувством недоумения, любопытства и желания отчитать звонившего в этот неположенный час начальник охраны снял трубку и недовольно спросил:

— Кто?

Он сразу узнал голос говорящего. Это был начальник Генерального штаба Красной Армии.

— Попроси товарища Сталина, — резко потребовал знакомый голос.

— Что? Сейчас? — недоуменно ответил начальник охраны. — Товарищ Сталин спит.

— Я тебе говорю: буди! — командно гаркнула трубка. — Немцы бомбят наши города!

Несколько мгновений начальник охраны молчал, все крепче сжимая в руке телефонную трубку. Наконец глухо сказал:

— Подожди.

Он положил трубку на стол, вытер о рубашку взмокшую ладонь, накинул на плечи плащ и поспешно вышел из комнаты.

...Прошло несколько минут, прежде чем Сталин взял трубку.

— Сталин, — сказал он негромко.

— Товарищ Сталин, — раздался отчетливый голос начальника Генштаба, — звоню по поручению наркома обороны. Немцы бомбят наши города...

Он умолк. Молчал и Сталин. Слышалось

только его тяжелое, хрипловатое дыхание курильщика.

— Где нарком? — спросил наконец Сталин, и генералу на другом конце провода показалось, что он задал этот вопрос лишь для того, чтобы остановить время, задержать, растянуть его.

— Говорит по ВЧ с Киевским округом, — поспешно ответил начштаба.

Снова наступило молчание.

«Ну почему он молчит, почему?..» — в мучительном нетерпении спрашивал себя генерал. Но даже в такой момент он не посмел нарушить это молчание. Это был решительный, смелый человек — генерал армии. Казалось, он был создан для войны, для него существовали только ее законы — логика обороны страны, перед которой в решительный момент отступали на задний план люди, звания, субординация. Однако и он не осмеливался нарушить молчание Сталина.

Генерал терпеливо ждал, пока Сталин заговорит, а перед его глазами неотвратимо вновь и вновь проходила та сцена, свидетелем и участником которой ему довелось быть вчера днем.

...Вместе с маршалом они прибыли к Сталину с сообщением чрезвычайной важности. В папке, которую привез с собой начальник Генштаба, лежала шифровка из Киевского военного округа. Командующий докладывал о прибытии в расположение наших войск немецкого солдата-перебежчика. Этот солдат заявил, что в его части был оглашен приказ начать на рассвете завтрашнего дня военные действия против СССР. По словам солдата, он является коммунистом, другом Советского Союза, и решил рискнуть жизнью, чтобы предупредить Россию о грозящей ей опасности.

Вместе с шифровкой в папке лежал проект приказа о приведении войск западных округов в полную боевую готовность. Этот проект и был предложен для рассмотрения Сталину.

...Он стоял у стены, под портретами Маркса и Энгельса, и неторопливо раскуривал свою трубку, плавно водя зажженной спичкой по табачной поверхности, и молча слушал доклад маршала. Потом медленной, неслышной походкой направился к длинному столу для заседаний, бросил в массивную медную пепельницу обгорелую спичку, не спеша повернулся к двум стоящим навытяжку военным и сухо спросил:

— А вы можете поручиться, что этого вашего перебежчика не подбросили сами немцы?

И он устремил холодный взгляд своих небольших, чуть прищуренных глаз на лица стоявших почти вплотную друг к другу маршала и генерала.

Они молчали.

— Вы уверены, что это не провокация? — чуть повышая голос, спросил Сталин, обращаясь на этот раз к начальнику штаба.

Из всех людей, что окружали Сталина, имели доступ к нему, беседовали с ним, наверное, не было человека, кто решился бы в категорической форме отрицательно ответить ему на подобное предположение.

Потому что все знали: мысль о возможной провокации — со стороны ли немцев, англичан или французов, — о возможной попытке втянуть СССР в войну никогда не оставляла Сталина и была неразрывно связана с другой, давно утвердившейся в нем мыслью, — не поддаться на эту провокацию.

И в то же время каждый человек, которому доводилось говорить со Сталиным или хотя бы слушать его, считал само собой разумеющимся, не подлежащим сомнению фактом, что Сталин знает больше его, видит дальше его, обладает одному лишь ему известными сведениями.

Так и на этот раз логика общения со Сталиным, годами укреплявшееся в людях сознание его интеллектуального превосходства, его способности видеть дальше всех и глубже всех побуждала стоящих перед ним маршала и генерала согласиться, признать его подозрения обоснованными.

Но на этот раз случилось иначе.

Начальник Генштаба чуть откинул свою тяжелую, массивную голову и твердо сказал:

— Нет, товарищ Сталин. Перебежчик не врет.

Стоявшему рядом маршалу показалось, что сейчас произойдет нечто непоправимое для генерала. Он знал, что Сталин не повысит голоса, не возмутится, не проявит никакого видимого раздражения. Но он, возможно, произнесет одну из своих коротких безапелляционных, уничижительных, звучащих, как афоризм, фраз, которые столь надолго уже определили судьбу многих людей.

Однако ничего подобного не произошло.

Сталин несколько секунд молча глядел на начальника штаба, не спеша поднес трубку ко рту, сделал глубокую затяжку, медленно прошелся взад и вперед по комнате. Казалось, что он не проявляет столь естественного в подобной ситуации волнения ни в жестах, ни в словах, ни в походке. Наконец Сталин остановился у длинного стола и негромко сказал:

— Огласите ваш проект директивы войскам.

Начальник Генштаба поспешно вынул из папки лист бумаги, огляделся, ища место, куда бы положить саму папку, приблизился к столу, положил папку, круто повернулся и, возвратившись на свое место, начал громко читать...

Снова наступило молчание. Сталин сосредоточенно выковыривал из трубки в пепельницу остатки недогоревшего табака, потом открыл лежащую на столе коробку «Герцеговины флор», вынул две папиросы, раскрошил табак, бросил в пепельницу выпотрошенные бумажные гильзы и стал снова набивать трубку.

Не спеша, опять плавным движением водя

зажженной спичкой по поверхности табака, закурил и сказал:

— Подобную директиву надо считать... преждевременной. Подготовьте другую, более короткую. Смысл должен заключаться в том, что в ночь на двадцать второе июня на границе могут произойти провокации. К ним надо быть готовыми, но на них... — Он сделал паузу и, махнув рукой с зажатой в ней трубкой, точно отбрасывая что-то невидимое, повторил: — Но на них не следует поддаваться.

...Сталин по-прежнему молчал. Молчал и генерал на другом конце провода, до боли в руке стискивая прижатую к уху телефонную трубку аппарата кремлевской «вертушки», а перед глазами его стояло все то, что произошло двенадцать часов назад в кремлевском кабинете Сталина.

«О чем он сейчас думает, о чем?!» — нетерпеливо хотел понять, догадаться генерал.

А Сталин сидел на превращенной в кровать софе, навалившись на телефонный столик, полуодетый, чувствуя, что какая-то огромная тяжесть придавливает его все ниже и ниже к земле. Он опустил на стол телефонную трубку, но по-прежнему держал ее зажатой в руке. И перед ним стояла та же картина, что привлекала к себе мысленный взор и того человека, который сейчас, прижимая к уху телефонную трубку, с чувством огромной тревоги недоуменно думал: почему молчит Сталин?! Да, они видели в эти мгновения друг друга, видели такими, какими стояли друг против друга двенадцать часов тому назад, во время последней встречи.

Но думали при этом каждый по-своему.

«Это была ошибка, — думал генерал, — ошибка, что Сталин не поверил тому немецкому солдату, не поверил нам, запретил отдать приказ, развязать руки командирам частей и соединений... Почему же он молчит сейчас, почему с обычной решимостью не отдает единственно возможного в эти минуты распоряжения?..»

«Что же происходит там, на границе? — думал в то же самое время в тихом, отделенном от леса высоким забором деревянном доме человек с зажатой в руке телефонной трубкой. — Не паника ли все это? Не истерика ли, свойственная людям, неспособным проникать в сущность явлений, видящих лишь их поверхность? Они, видимо, не сомневаются в том, что солдат был прав. Но разве ложь не выступает часто в обличье бесспорной правды? Разве бомбежка, размеры которой наверняка преувеличивают паникеры, не может быть лишь звеном хорошо продуманной провокации?

Нет, Гитлер не может быть настолько глупым, чтобы начать войну против Советского Союза, не покончив с Англией. Эта бомбежка — несомненная провокация, и именно такого грандиозного масштаба она и должна быть, чтобы повергнуть в панику слабонервных людей. Гитлер наверняка ждет таких ответных действий, которые дадут ему возможность убедить немцев и всех своих сателлитов в агрессии со стороны Советского Союза. Ведь не исключено, что он все же сумел договориться с Англией? Может быть, эта старая лиса, этот заклятый враг коммунизма Черчилль убедил немцев изменить направление удара и теперь Гитлеру нужно оправдание своего следующего шага в глазах общественного мнения?..»

И чем больше Сталин думал об этом, тем более убеждался в справедливости своих предположений. Наконец он поднес к уху телефонную трубку и сказал неторопливо, но тихо, слишком тихо даже для его обычной манеры говорить:

— Немедленно приезжайте в Кремль. Вместе с наркомом.

Он повесил трубку, не дожидаясь ответа.

...Прошло не более получаса, и длинные черные машины выскользнули из раскрывшихся деревянных ворот. Предупрежденные по селектору регулировщики ОРУДа поспешно переключали на красный свет светофоры на всем протяжении Дорогомиловской и Арбата, зазвенел предупредительный звонок в будке часового у въезда в Боровицкие ворота. Одиночные прохожие, оказавшиеся на улицах в это раннее, раннее воскресное утро, с уважительным пониманием провожали взглядом мчащуюся по центральной части мостовой кавалькаду машин, не сомневаясь, что в одной из них находится Сталин, и думали: «Дела... дела!.. Так поздно, а он не спит... Он не спит!.. Дела!..»

Люди спешили домой из гостей, ресторанов, с субботних вечеринок. Некоторые несли в руках патефоны, чемоданчики с пластинками, другие толпились на углах, высматривая свободное такси. Все спешили скорее попасть домой, мечтали о наступающем выходном, о том, как хорошо, что можно поздно поспать, а потом, если погода будет хорошая, поехать в Химки, или в Серебряный бор, или на Сельскохозяйственную выставку...

Все, все можно будет сделать, потому что те, от кого зависит их завтрашний день, их будущее, — не спят и ночью. И среди них только что промчавшийся в одной из этих черных машин Сталин — самый мудрый, самый деятельный, все знающий наперед, не ведающий ни сна, ни отдыха, берегущий их от всех опасностей, от всех происков врагов, великий человек...

...Когда маршал и генерал армии вошли в отделанный дубовой панелью и линкрустом кремлевский кабинет председателя Совнаркома, члены Политбюро уже сидели по обе стороны длинного полированного стола для заседаний.

Сталин держал в руке набитую табаком, но незажженную трубку. Он не ответил на приветствие военных и глухо сказал:

— Докладывайте.

Маршал лаконично доложил обстановку: «Враг бомбит Мурманск, Таллин, Киев, Могилев, Одессу... Его войска атакуют границу по всему Западному фронту».

Он старался говорить спокойно, не придавая эмоциональной окраски произносимым словам, но тем не менее здесь они звучали, точно раскаты грома. Когда маршал кончил, воцарилось молчание. Взгляды всех присутствующих обратились к Сталину. Но Сталин тоже молчал, сосредоточенно уминая большим пальцем табак в своей трубке.

Наконец раздался его голос:

— А скажите, вам не кажется, что все это может быть провокацией?

Казалось, он произнес эти слова своим обычным, почти лишенным интонации голосом. Но каждый, кому приходилось слышать Сталина, мог сейчас уловить в его тоне какие-то новые, немыслимые ранее, словно бы просящие нотки.

И от этого в комнате стало еще тревожнее.

А Сталин ждал ответа. Он вопросительно смотрел на военных, чуть откинув голову и несколько выдвинув подбородок, его рука с зажатой трубкой, подобно стрелке часов, описывающая плавные полуобороты, застыла в воздухе.

И все, кто находился сейчас в этой большой комнате, — те, кто сидел за столом, и особенно эти двое военных — один сухощавый, с маршальскими звездами на петлицах и другой — приземистый, квадратный, с массивной головой и тяжелым подбородком генерал армии — почувствовали, что не было сейчас у Сталина большего желания, чем получить утвердительный ответ.

Случайно или намеренно, но, ожидая ответа, Сталин остановил свой взгляд именно на генерале, и тот понял, что отвечать придется ему.

Генерал хорошо знал, что нередко люди давали этому невысокому человеку в серой, наглухо застегнутой куртке и в мягких сапогах, делающих его шаги неслышными, именно те ответы, которые, как они безошибочно догадывались, он и хотел услышать.

И может быть, под влиянием этого горького чувства генерал ответил громче, резче и прямолинейнее, чем намеревался:

— Какая же это может быть провокация, товарищ Сталин? Ведь на наши города бомбы падают!

Сталин сделал нетерпеливое движение рукой и недовольно сказал:

— Немцы — известные мастера провокаций. Ради нее они могут начать бомбить даже собственные города.

Он обвел взглядом присутствующих, точно ища привычной поддержки.

Но все молчали.

Сталин сделал несколько неслышных шагов по комнате и остановился напротив сидящего за столом Молотова.

— Надо срочно связаться с Берлином, — сказал он, указывая на Молотова изогнутым мундштуком своей трубки. — Надо звонить в германское посольство.

Казалось, все облегченно вздохнули: в словах Сталина заключалось уже некоторое действие, а какого-то действия, приказа ждали сейчас от Сталина все.

Молотов поспешно встал и пошел к столику с телефонами, расположенному возле большого письменного стола. Сняв трубку одного из них, он вполголоса передал указание дежурному в Наркомате иностранных дел.

Наступила тишина. Сталин возобновил свое бесконечное движение — взад и вперед вдоль стены. Он ходил по-прежнему с незажженной трубкой в руке и лишь время от времени поворачивал голову, еще более замедляя шаг, точно прислушивался. И тем, кто собрался в этой комнате, казалось, что он хочет расслышать звуки той дальней канонады.

Раздался телефонный звонок. Молотов, так и не отходивший от столика, поспешно взял трубку. Несколько мгновений он молча слушал. Потом произнес: «Пусть едет», положил трубку и, обернувшись к Сталину, сказал, чуть заикаясь:

— Ш-шуленбург хочет немедленно меня видеть. Говорит, есть в-важное сообщение. Я сказал: пусть едет.

— Иди, — коротко бросил Сталин.

Молотов быстрыми шагами вышел из комнаты.

Снова наступила тишина. Маршал и генерал все еще стояли посредине комнаты. Никто не предлагал им сесть. Но на ногах был и сам Сталин, так что все выглядело естественным. Вот так же они стояли двенадцать, нет, теперь уже тринадцать часов назад, когда шел разговор о перебежчике. Все на тех же самых местах. «Если бы можно было вернуть время, остановить его, отбросить на тринадцать часов назад!» — подумал начальник Генштаба и в этот момент встретился взглядом со Сталиным.

И генералу показалось, что Сталин прочел его мысли и сейчас не сводит с него своих холодных, проницательных глаз, как бы говоря с упреком: «Это мы еще посмотрим, товарищ генерал армии! В военных делах вы разбираетесь, но куда меньше смыслите в политике. Вы не в состоянии проникнуть в коварные замыслы врага. А я, я вижу их насквозь. И время это докажет».

Генералу было известно, что Сталин не терпит, когда под его пристальным взором опускают глаза. Способность человека выдержать его взгляд, не отводить глаз расценивалась Сталиным как признак искренности, отсутствия задней мысли.

Но сейчас генерал армии, этот невысокий человек с широкими прямыми плечами, над кото-

рыми возвышалась большая голова с тяжелым подбородком, глядел в упор на Сталина не потому, что боялся за себя.

Нет, ему просто очень хотелось, чтобы Сталин оказался прав. В пристальном взоре Сталина генерал хотел прочесть уверенность, знание чего-то такого, что не известно никому из присутствующих в этой комнате людей, но что в конечном счете коренным образом изменит положение вещей.

Наконец Сталин отвел свой взгляд от генерала и снова сделал несколько шагов вдоль стены. И хотя его шаги по ковру были совершенно неслышными, генералу показалось, что они отдаются в его ушах. Сталин ходил взад и вперед, и в повторности движений его было нечто от маятника.

Теперь он ни на кого не глядел, но взгляды всех, кто находился здесь, были прикованы к нему, казалось, соединены с ним незримыми нитями. И когда Сталин уходил в дальний конец комнаты, все головы поворачивались ему вслед. А когда он возвращался, все неотрывно следили за выражением его лица, ждали каких-то важных, решающих слов.

Но Сталин молчал.

В напряженной тишине, казалось, никто не заметил, как в комнате снова появился Молотов. Глухим голосом, не обращаясь ни к кому в отдельности, он произнес:

— Германское правительство объявило нам войну.

Эти слова застали Сталина на его пути в дальний угол комнаты.

Услышав их, он круто повернулся. И именно в этот момент все увидели, что в нем произошла какая-то неуловимая, но несомненная перемена.

Он сделал несколько неуверенных шагов, но не по своему привычному маршруту, а в глубь комнаты. Потом все так же, будто ничего не видя перед собой, подошел к столу и медленно, точно ощупью, опустился на свободный стул. Он сидел ссутулившись, опустив голову, положив на стол свою набитую, но так и не зажженную трубку. В воображении миллионов людей навсегда слитая с рукой Сталина, являющаяся как бы естественным продолжением этой руки, она одиноко и никчемно лежала на широком столе, — маленький изогнутый кусок дерева. Наконец Сталин поднял голову и, протягивая указательный палец в сторону военных, сказал:

— Дайте немедленно директиву, чтобы наши войска отбили атаки врага. Но, — продолжал он, неожиданно повышая голос и точно споря с невидимым оппонентом, — прикажите пока не переходить границу. — Он помолчал и добавил уже тише: — Кроме авиации. Идите.

Последнее слово он произнес почти в своей обычной спокойно-властной манере, но тем не менее все с горечью ощутили, что на этот раз его голос прозвучал как-то ненатурально. Сталин был подавлен, угнетен, и это поняли все.

Ни на следующий день, ни в ближайшие двое суток ни Сталин, ни его ближайшие товарищи по руководству еще не могли представить себе, как будут развиваться военные события, до конца предвидеть масштабы опасности, нависшей над страной.

И Сталин, и члены Политбюро были убеждены в мощи Красной Армии. Они не сомневались в том, что враг в самое ближайшее время будет отбит и выброшен с советской территории, — сведения о самоотверженном сопротивлении пограничников и стойкой обороне войск на Украине как будто подтверждали их уверенность.

На Шауляйском и Рава-Русском направлениях враг, вклинившийся на нашу территорию, был разбит и отброшен за границу. На юго-западном направлении советские войска отбили захваченный немцами Перемышль...

Но одновременно накапливались другие, тревожные, угрожающие факты.

Еще во второй половине дня 22 июня фронтам был отдан приказ перейти в решительное наступление на направлениях главных ударов врага. В течение последующих трех дней стало ясно, что предпринятое контрнаступление хотя и несомненно задержало продвижение врага, однако явно не достигло поставленных целей. Все новые и новые донесения свидетельствовали о том, что замысел ответного удара и перенесение боевых действий на территорию противника не может быть осуществлен. Ослабленные большими потерями, советские войска, несмотря на то что сражались самоотверженно, не были в состоянии ни остановить врага, ни ликвидировать его глубокие прорывы. Особенно тяжелая обстановка создалась в Белоруссии...

Поздним вечером Сталин и несколько сопровождавших его членов Политбюро неожиданно появились в здании Наркомата обороны на улице Фрунзе.

Входя в кабинет наркома, Сталин был спокоен и уверен в себе. Однако именно там, в центре военного руководства страны, он впервые со всей конкретностью ощутил масштабы надвигающейся опасности. Танковые группы противника стремились клещами охватить Минск, и казалось, ничто не может противостоять их движению. Связь с нашими отступающими под ударами врага войсками была нарушена...

Обычно внешне спокойный, медлительный в разговорах и движениях, Сталин на этот раз не смог сдержаться. Он обрушился с гневными, обидными упреками на руководителей наркомата и Генштаба. Потом, ни на кого не глядя,

поникший, ссутулившийся, вышел из здания, сел в машину и уехал в свой кунцевский дом.

...Никто не знал, о чем думал Сталин в течение последующих нескольких десятков часов. Его никто не видел. Он не появлялся в Кремле. Никто не слышал его голоса в телефонных трубках. Он никого не звал. И никто из тех, кто в эти дни ежечасно ожидал его вызова, не решался ехать к нему незваным...

На членов Политбюро, наркомов, руководителей Наркомата обороны, Генштаба и Политического Управления армии сразу же обрушились тысячи дел, больших и малых, связанных с осуществлением военных мероприятий в стране и на фронтах. Никто не бездействовал.

Однако, с утра и до глубокой ночи занятые неотложными делами, они не раз спрашивали себя: где же Сталин? Почему он молчит?

...Что же делал, о чем думал этот, казалось, всесильный и всезнающий человек в те долгие, страшные часы? Об этом можно только гадать. В ту ночь он вышел из здания Наркомата обороны точно в трансе, ничего и никого не видя. Сел в машину. Мелькали светофоры, глухо крякали гудки-«кукушки», по звуку которых шарахались в сторону попутные автомобили. Неслышно распахнулись глухие ворота кунцевской дачи...

Быть может, он молча прошел в комнату, служившую ему столовой и кабинетом, сдвинул в сторону ворох бумаг и газет, сел и ощутил сильную боль в области сердца. С недоверием прислушался к ней. Он редко болел и к врачам относился с пренебрежением крепкого, здорового человека.

Правда, один или два раза в году он все же разрешал врачу осмотреть себя. В столовой, в посудном шкафу, стояло несколько пузырьков с лекарствами на экстренный случай. Но Сталин никогда не прибегал к ним.

И вот сейчас, быть может, в первый раз за долгие годы, он пошел в столовую, к шкафу, открыл его, поглядел на пузырьки и, не дотронувшись до них, чисто механическим движением закрыл дверцу.

Медленно, необычной для него шаркающей походкой пошел по мягкому, пушистому ковру — единственному, пожалуй, предмету роскоши, допущенному в этот дом, остановился у окна, посмотрел в сад.

Он любил в начале дня сидеть и читать в беседке, окруженной вишневыми деревьями, любил глядеть на белый цвет яблонь.

Он раскрыл окно, сделал глубокий вдох, но не почувствовал обычного запаха смешанных ароматов растений. Ему показалось, что воздух наполнен едкой гарью. Он закрыл окно, вернулся к длинному столу, снова сел.

«Как же это могло произойти? Как?.. Почему наши войска отступают?» — мысленно задал себе вопрос Сталин.

И это был тот самый вопрос, который очень скоро станут задавать себе миллионы советских людей в тылу и на фронте.

И он не мог найти ответа на этот вопрос. Рефлексия обычно была чужда Сталину. Он всегда казался решительной, даже грубой в своей цельности и устремленности натурой. Сомнения, колебания Сталин считал серьезным человеческим пороком — Гамлет был тем образом в мировой литературе, к которому он чувствовал наибольшую неприязнь.

И тем не менее цельному, казалось бы, характеру Сталина и его поступкам были свойственны серьезные противоречия.

Да, с одной стороны, он был революционером, беспредельно преданным идее построения коммунизма. По его инициативе принимались и под его руководством осуществлялись все кардинальные решения в стране. С его именем была связана борьба партии против различных оппозиций, которых объединяло неверие в возможность построения социализма в России вообще или в темпы его построения. Он стоял во главе Центрального Комитета в те годы, когда осуществлялась коллективизация и индустриализация страны, — процессы, которые по их влиянию на психологию миллионов людей, по глубине связанного с ними технического прогресса можно было бы назвать второй революцией. С его именем было связано превращение Советского Союза в могучее индустриальное государство. Казалось, Сталин всегда шел вперед, не оглядываясь.

В нем жило обостренное чувство времени, его течения. Лимит времени, сознание, что «это надо успеть», «успеть», пока есть «передышка», задача использовать противоречия в стане врагов коммунизма, выиграть время для укрепления мощи Советской страны — все это лежало в основе тех главных решений, которые принимал Сталин.

И до сих пор казалось, что, принимая и руководя осуществлением этих решений, Сталин был всегда прав.

Что же произошло теперь? Почему вопреки его твердой уверенности в том, что начало войны можно еще отдалить, она все же разразилась? Почему отступают наши войска?..

...Он сидел сразу постаревший на несколько лет, так непохожий на того, известного по портретам, которого два раза в году люди видели на трибуне ленинского Мавзолея, того вечно бодрствующего Сталина, на чьем лице не было следов оспы, а черные волосы были недоступны седине, Сталина, казалось, никогда не снимающего своей наглухо застегнутой серой куртки, никогда не расстающегося с изогнутой трубкой, того Сталина, о котором он сам иногда говорил в третьем лице...

Он сидел, низко склонившись над столом, и задавал себе эти мучительные вопросы. Он

спрашивал себя: как могло случиться, что самое грозное событие, о котором он размышлял постоянно, об опасности которого неоднократно предупреждал партию и народ в своих речах и докладах, возможность которого, казалось, всегда учитывал, — как могло случиться, что это событие все же застало его неожиданно?

В чем же заключалась ошибка, в чем?! Почему отступают наши войска?

Может быть, обороне страны не уделялось достаточно внимания? Может быть, на нее жалели средства? Может быть, лучшие умы страны не привлекались для создания новейшей военной техники? Может быть, армия и народ не воспитывались в духе постоянной мобилизационной готовности? Может быть, недооценили Гитлера, его армию, забыли об опасности немецкого фашизма, убаюкали себя и народ мыслью о несокрушимости Красной Армии?

«Нет, нет!» — мысленно отвечал Сталин.

Ведь ни одно важное решение не принималось без учета военной опасности. Каждый час, сутки, месяц воспринимались только как отсрочка, как передышка, которую надо использовать, не щадя сил и средств. Разве за какие-нибудь десять лет наша артиллерия не возросла в семь раз, а противотанковая и танковая — в семнадцать? В семнадцать раз! По существу, заново созданы наши танковые войска, в шесть раз увеличилось количество самолетов! Пятьсот новых кораблей получил военно-морской флот — разве этого мало? Разве можно было требовать больше от народа, который имел только каких-нибудь десять лет для того, чтобы в необозримо огромной, нищей, крестьянской стране создать собственную индустрию, создать, не имея опыта, путем лишений, страданий, без всякой помощи извне?

Разве тревожная мысль о грядущей войне не пронизывала произведения писателей, кинофильмы, не звучала в песнях, не кричала с плакатов? Разве сам он, Сталин, произнес хотя бы одну речь, в которой не предупреждал бы о военной опасности?

Так почему же, почему война все же обрушилась, как лавина с горы? Почему горят наши самолеты на аэродромах, почему не производит свой всесокрушающий залп артиллерия, почему отступают бойцы?

...Он, ссутулившись, неподвижно сидел у длинного, узкого стола над грудой беспорядочно сдвинутых бумаг и газет. За широким окном сияло солнце, благоухал сад, ни одного звука не доносилось извне в этот загородный, окруженный лесом дом.

Никто из имевших сюда доступ никогда еще не видел Сталина таким — ни начальник охраны, с его многочисленным штатом, ни старая женщина, которая каждую ночь в положенный час стелила ему постель на софе и убирала ее в полдень, когда Сталин уходил в беседку...

Тихо заглядывая в полуоткрытую дверь столовой, они украдкой наблюдали за ним, неподвижно сидящим. Им казалось, что он спит.

Но Сталин не спал. В его ушах, в его сознании звучали голоса, грохотали артиллерийские разрывы. И ему хотелось своим внутренним голосом заглушить, перебороть, подавить все эти звуки.

«Нет, нет! — говорил этот внутренний голос. — Мы готовились к войне, не дремали! Не проходило недели, чтобы военные не докладывали Политбюро проекты новых вооружений, каждый месяц мы выезжали на аэродромы и полигоны, чтобы лично убедиться в боеспособности новой техники. Разве танк Т-34 не продемонстрировал совсем недавно своих замечательных достоинств? Разве у какой-либо армии в мире есть такой танк? Разве полеты Чкалова, Громова, Коккинаки, Гризодубовой не были объективным доказательством мощи нашей авиационной техники и замечательного искусства летчиков?»

Но тогда, может быть, ошибка в другом? Может быть, она кроется в советско-германском пакте?..

Нет! Он был необходим, неизбежен, этот договор. На него было нелегко пойти, но этого требовали интересы страны.

Разве не западные державы саботировали наши многолетние усилия создать коллективную безопасность против фашистской агрессии? Разве не они предали мир в Мюнхене? Разве не Чемберлен и Даладье прислали в Москву пешек, которые не имели полномочий не только на то, чтобы заключать действенный пакт против Гитлера, но и на принятие хотя бы частных военных решений!

Что ответили они, эти заклятые враги коммунизма, когда мы хотели помочь Чехословакии и помешать захватить ее Гитлеру? Что сделала Франция? Она отказала в военной помощи Чехословакии. Что ответило польское правительство? «Ни один советский солдат не будет пропущен через польскую территорию!» Как поступил Бенеш? Он предпочел пренебречь помощью со стороны Советского Союза и капитулировал перед Гитлером. Англия и Франция все делали для того, чтобы «ублаготворить» Гитлера, лишь бы он повернул на Восток, против Советского Союза... Так что же нам оставалось делать, что?!

Да, нелегко было заключить этот пакт... Но разве он не дал нам возможности и почти два года жить в мире, когда в Европе уже полыхала война? Разве мы не сумели далеко отодвинуть наши границы? И разве это был пакт покорности? Нет, мы зорко следили за происками врага. Когда было надо, мы не боялись говорить с ним голосом великой державы. Разве Молотов поехал в Берлин как проситель?..

«Так почему же, несмотря на все принятые меры, немецкий удар все же застал нас врасплох? Почему? — с яростью, с горечью, с болью мысленно спрашивал себя Сталин. — Допустили ли мы какой-то роковой просчет, или мне не в чем упрекнуть себя?..»

И он не находил ответа на этот неумолимый вопрос. В те дни он не мог найти его, ибо этого человека отличали не только сила воли, огромный политический опыт, ум и преданность делу коммунизма, но и другие черты, логически, казалось, несовместимые с первыми: с каждым годом укреплявшаяся вера в свою непогрешимость, подозрительность и неоправданная жестокость — не просто жесткость, необходимая в борьбе с врагами революции, а именно жестокость, с которой он так часто бил и по своим...

Нет, не в том заключался роковой просчет, что к войне не готовились, — все последние годы, месяцы заботы об армии были главными заботами партии, ЦК, правительства. Ей старались дать максимум того, что могла произвести только что созданная социалистическая индустрия.

И конечно, не в пакте с Гитлером заключался сталинский просчет, — этот непрочный договор был вынужденным, неизбежным, предопределенным мюнхенским предательством великих капиталистических держав, поставивших своей целью развязать руки Германии, натравить ее на Советский Союз.

Просчет был в другом. И он отражал именно противоречивость характера Сталина, авторитарность его мышления, причудливое сочетание в нем творческих и догматических элементов.

Убежденный с момента прихода Гитлера к власти в возможности и даже неотвратимости его нападения на Советский Союз, ежечасно ожидавший этого нападения после того, как стало очевидным, что Англия и Франция не хотят вместе с Советским Союзом обуздать Гитлера, но, наоборот, стремятся сделать все для того, чтобы немецкий диктатор мог напасть на социалистическую страну, не опасаясь за свой тыл, Сталин, когда Гитлер вопреки ожиданиям начал войну на Западе, неоправданно успокоился.

Он снова насторожился в период «странной войны» Германии с Францией, во время подозрительного бездействия немецких войск на линии Мажино, — мысль о том, что Гитлер в это время ведет переговоры с продажными правителями Франции, снова обострила бдительность Сталина.

Однако, когда началась война Германии с Англией, Сталин пришел к убеждению, что Гитлер увяз надолго. В возможность покорения Англии силами одной лишь немецкой авиации Сталин, разумеется, не верил. Высадка же немецких войск на острова через Ла-Манш представлялась ему делом трудным, требующим от Гитлера затраты огромных людских резервов и техники, — недаром от подобной попытки в свое время отказался даже, казалось, непобедимый Наполеон.

Так или иначе, рассуждал Сталин, если Гитлер и решится перенести войну на английскую территорию, у Советского Союза будет как минимум год в резерве. Возможность же того, что Германия нападет на Советский Союз, одновременно ведя изнурительную войну с Англией, представлялась Сталину нереальной. Конечно, рассуждал он, все эти события хотя и отодвигают, но отнюдь не уничтожают перспективы советско-германской войны. Однако расчет подсказывает, что даже если Гитлер покорит Англию и, обуреваемый жаждой мирового господства, повернет свою армию на Восток, то эту новую войну он начнет значительно ослабленным, без реальных шансов на успех.

Разумеется, должно быть, думал Сталин, остается другая опасность: правители Великобритании до сих пор не расстались со своей вожделенной, хотя так и не реализованной, мыслью натравить Гитлера на Советский Союз. В сложившихся условиях осуществление подобного замысла имело бы для Англии исключительное значение, — ведь на карту поставлено ее существование.

Возможность сговора в стане империалистов за счет социалистической страны Сталин никогда не исключал. Следовательно, не исключал он и такой ситуации, при которой Англии удастся уговорить Гитлера не ожидать, пока мощь Советского Союза возрастет еще более, а, примирившись с Британией, превратив ее в нейтрала, а может быть, и в союзника, ударить на Восток.

В этих условиях, по убеждению Сталина, явная военная активизация Советского Союза, решительное осуществление мобилизационного плана, несомненно, облегчило бы намерения Англии, стало бы козырем в ее тайной игре с Гитлером.

Следовательно, задача заключается в том, чтобы пока что выиграть время, — оно работает на нас, на Советский Союз. В том, чтобы использовать еще год-полтора для планомерного перевооружения армии. И притом не давать повода для провокаций. Таков был расчет Сталина. И у него были основания — логические, политические и стратегические — для такого расчета.

Однако самый правильный расчет, превращаясь в догму, теряет свой первоначальный смысл. В этом случае все новые факты, если они в какой-либо мере противоречат заранее принятому решению, отвергаются с пренебрежением и раздражением.

О фактах, свидетельствующих, что Гитлер готовится к скорому нападению на СССР, сообщали Сталину советские разведчики. Некото-

рые из этих сообщений он игнорировал. Более того, каждодневно ожидающий каких-либо хитроумных шагов англичан или самого Гитлера, Сталин видел в этих данных разведки именно отражение их тайных замыслов, был убежден, что авторы предостерегающих сообщений стали невольным орудием в руках врагов.

Эти тайные замыслы существовали отнюдь не только в воображении Сталина. Он хорошо помнил слова, в свое время произнесенные Чемберленом в кругу своих единомышленников: «Для нас, конечно, было бы лучше всего, если бы Гитлер и Сталин сцепились и растерзали друг друга». Сталин был прав в своей настороженности.

Но он ошибался, когда закрывал глаза на все новые факты, противоречащие его прогнозу, его расчету.

Логически Сталин был прав, не допуская мысли, что Гитлер может начать новую войну, не окончив ту, что ведет на Западе. Он не считал немецкого диктатора настолько безрассудным, чтобы навязать себе второй, затяжной фронт.

Но Гитлер рассуждал иначе, чем Сталин. Он не верил в сплоченность и стойкость советского народа. Не верил в мощь Красной Армии. Он не планировал затяжную войну, полагая, что сокрушит Советский Союз путем «блицкрига» в несколько недель.

Однако мысль о подобном расчете Гитлера не приходила в голову Сталину, уверенному в мощи Советского государства, убежденному в том, что и Гитлер должен принимать во внимание эту мощь.

Вел ли себя Сталин непредусмотрительно, твердо уверовав в то, что война не может начаться раньше, чем через год? Нет, утверждать так было бы неправильно. Уже в начале 1941 года, которому суждено было стать роковым, Генштаб совместно со штабами военных округов и флотов разработал новый план обороны государственной границы Советского Союза. В том же месяце правительство утвердило план мобилизации вооруженных сил. Согласно этому плану, был проведен учебный сбор приписного состава — еще около миллиона человек надели военную форму. В мае Генштаб получил указание немедленно приступить к строительству фронтовых командных пунктов и форсировать строительство укрепленных районов...

И все же удар оказался неожиданным.

«Почему же, почему? В чем же заключался просчет?!» — снова и снова мысленно задавал вопрос Сталин.

Но анализ, на который мог отважиться этот человек, имел свои пределы. Он не был бы Сталиным, если бы всегда умел прямо и беспристрастно оценивать все свои расчеты и поступки.

А быть Сталиным означало очень многое. Это означало ненавидеть ложь и нередко поддаваться на обман, ценить людей и не щадить их, быть спартанцем по вкусам и поощрять помпезность, быть готовым отдать за коммунизм собственную кровь — капля за каплей — и не верить, что на такой же подвиг в той же мере готовы и другие, ценить блестящий, аналитический ум и раздражаться, обнаруживая его в том или ином человеке, презирать догматизм и славословие и способствовать их распространению, считать культ вождей порождением эсеровской ереси и закрывать глаза на собственный культ...

Годами укреплявшаяся в нем вера в свою непогрешимость, в безошибочность своего предвидения, в только ему присущую способность принимать единственно верные решения и сегодня еще не давала Сталину возможности найти правильный ответ на вопрос, «в чем заключался просчет».

Ибо если бы он нашел в себе силу, решимость и желание объективно и беспощадно оценить все свои поступки, он неминуемо должен был бы вспомнить и о другом. О том, что именно по его воле, из-за его неоправданной, переходившей границы здравого смысла подозрительности армия понесла в недавние годы такой тяжелый урон в кадрах...

...Но сейчас, грузно склонившись над ворохом бумаг, Сталин вряд ли думал обо всем этом. Возможно, что все эти горькие мысли придут к нему позже. Во всяком случае, очень скоро его железная воля возьмет верх над потрясением, и он снова станет тем Сталиным, каким его привыкли видеть.

Но пока он сидит у длинного, узкого стола, в гнетущей тишине, один.

Где-то, за многие сотни километров отсюда, от Баренцева до Черного моря, уже гремела война. Где-то стояли насмерть советские люди, умирая во славу родины, с именем Сталина на устах. У них не хватало оружия — сильных, маневренных, обеспеченных надежной броней танков. Не хватало орудий противотанковой и зенитной артиллерии, полковых и армейских пушек. Не хватало автоматов... Наши войска оказались рассредоточенными на фронте в четыре с половиной тысячи километров и более чем на четыреста километров в глубину, и в эти первые, трагичные дни ударным группировкам противника противостояли только пограничные войска и лишь отдельные, находившиеся близ границы, но еще не развернутые в боевые порядки стрелковые дивизии первых эшелонов армии прикрытия...

И во всем этом вряд ли еще отдавал себе отчет Сталин. Но он знал одно: произошло нечто непредвиденное, грозное, опрокинувшее все его расчеты...

Если бы кому-либо из наших врагов довелось каким-либо чудом увидеть в эти минуты Сталина, он злорадно предвкушал бы победу, крах великой социалистической державы.

«Это неизбежно, — наверное, рассуждал бы враг, — ведь миллионы советских людей всегда привыкли видеть Сталина на гребне событий. Разве не он изображался на всех плакатах, подобно Ленину, с рукой, устремленной в будущее, указывающей путь? Разве не его речи раздавались с самых высоких трибун страны? Разве не им провозглашенные лозунги лежали в основе всех свершений? Разве не он подписывал все главные решения? Разве не от него всегда ждут самого нужного, самого важного слова?..

И вот он сидит, безмолвный, погруженный в тяжелые раздумья, вдали от людей в минуты, когда его страна подвергается смертельной опасности. Значит, эта страна обречена!»

Наверное, именно так рассуждал бы наш враг, заранее предвкушая победу.

Но это был бы грубый, роковой просчет. И не только потому, что пройдут всего лишь десятки часов, и Сталин найдет в себе силу и решимость возглавить и верховное командование армией, и Комитет обороны страны. Дело заключалось в другом...

Именно в эти трагические дни стало неопровержимо ясно, что не в Сталине прежде всего заключается непреоборимая сила нашей страны, а в ее социальном строе, в преданности миллионов людей делу коммунизма.

И в те самые минуты, когда Сталин был еще весь во власти тяжелых раздумий, сотни, тысячи людей, гражданских и военных — в ЦК ВКП(б), в Центральных Комитетах компартий союзных республик, в обкомах и в райкомах, в штабах и военкоматах — были далеки от того, чтобы бездействовать. Десятки машин мчались по пустынным московским улицам туда, на Старую площадь, к зданию ЦК, выстраивались в ряд у металлической ограды бульвара, и люди, поспешно выходя из машин, скрывались в подъездах...

Такое же движение машин и людей можно было наблюдать в тот ранний час в другом районе Москвы — на улице Фрунзе и Гоголевском бульваре, где размещались Наркомат обороны, Генеральный штаб и Главное Политическое Управление Красной Армии...

По Москве на мотоциклах и в автомашинах мчались фельдсвязисты, собирая подписи членов Политбюро, секретарей ЦК и народных комиссаров под проектом решения ЦК и Совнаркома о создании Ставки Главного Командования Вооруженных Сил СССР. В Генштабе старались установить непрерывную связь со штабами округов, которые теперь становились фронтовыми управлениями, хотя связь эта в новых, военных условиях была еще неустойчивой...

IX

В Ленинграде июньский вечер мало чем отличается ото дня. В особенности субботний вечер. И хотя время близилось к одиннадцати, проспект 25 Октября, бывший Невский, был оживлен, как в полдень. На углах улиц продавали цветы — в то лето в Ленинграде было очень много цветов. У кафе «Норд» толпилась молодежь. На эстрадах переполненных ресторанов гостиниц «Европейская» и «Астория» рассаживался джаз-оркестр. По аллеям Сада отдыха медленно двигались толпы гуляющих. Из настежь раскрытых окон домов доносились звуки патефонов, всплески смеха.

По Неве безмятежно плыли прогулочные шлюпки. Казалось, что никто не думает о сне, что продолжается бесконечный веселый день.

Но вдали от центра, в районе Смольного, где располагались обком и горком партии, в этот поздний вечерний час царила совсем иная атмосфера.

Одна за другой в широкие ворота, от которых обсаженная деревьями аллея вела непосредственно к зданию Смольного, въезжали машины. Длинные, приземистые ЗИСы-101. Высокие, похожие на сундуки «эмки». Цепочкой шли по аллее люди.

Случайные прохожие, которым в этот час довелось быть вблизи Смольного, не придавали этому движению особого значения, — в течение двух последних дней шел пленум горкома, об этом сообщалось в газетах, — а о том, что он еще утром закончился, знали лишь немногие.

И только совсем уж ограниченный круг людей — те, что ехали сейчас в автомашинах или шли по длинной аллее Смольного, — знал, что в полночь у секретаря горкома Васнецова состоится экстренное заседание партийного актива.

Актив был созван внезапно. Во второй половине дня, всего лишь через два-три часа после того, как кончился пленум горкома, в кабинетах секретарей райкомов, директоров крупнейших заводов, в парткомах раздались телефонные звонки.

Тем, кого в полночь вызывали в Смольный, причин вызова не сообщали.

Однако майор Звягинцев эту причину знал. В десять часов полковник Королев снова вызвал его к себе и передал приказание члена Военного совета отправиться к двенадцати часам ночи в Смольный и быть готовым ответить на возможные вопросы о состоянии оборонительных работ на границе, поскольку он, Звягинцев, только что вернулся оттуда, а начальник инженерного управления был еще в районе незакончившихся учений.

Штабная «эмка» доставила Звягинцева к подъезду Смольного, и без четверти двенадцать он, дважды предъявив документы охране, вместе с другими людьми поднялся по ши-

рокой каменной лестнице на второй этаж и пошел в конец длинного коридора, где находился кабинет секретаря обкома.

Каких-нибудь двадцать минут назад Звягинцев выехал с площади Урицкого, бывшей Дворцовой, где располагался штаб Ленинградского военного округа. Машина, которая везла Звягинцева, промчалась вдоль всего Невского; в открытые окна «эмки» до него доносился шум беспечной праздничной толпы, заполнившей тротуары.

И именно поэтому, очутившись в Смольном, он так отчетливо ощутил царящую здесь сгущенную, тревожную атмосферу.

В казавшемся бесконечным коридоре неярко горели настенные светильники, было тихо, люди шли молча и бесшумно: широкая ковровая дорожка заглушала их шаги.

...В ярко освещенном кабинете секретаря горкома тяжелые шторы на окнах были плотно задернуты.

Когда Звягинцев вошел в эту комнату, там уже было много народу. Люди сидели на расставленных вдоль стен стульях и по обе стороны длинного, покрытого зеленым сукном стола для заседаний.

Секретарь горкома Васнецов, хорошо знакомый Звягинцеву по портретам, молодой, высокий, худощавый, черноволосый, с длинным аскетическим лицом, на котором над глубоко запавшими глазами нависали густые, почти сросшиеся брови, стоял, не выходя из-за письменного стола, глядел на поминутно открывающуюся дверь и повторял негромко:

— Входите, товарищи, входите...

Звягинцев направился к еще не занятым стульям у стены, на ходу вытягиваясь в знак приветствия, и Васнецов, кивнув ему в ответ, сказал: «Проходите, товарищи, проходите...»

Звягинцев уселся и стал наблюдать за людьми.

Некоторых из них ему довелось встречать лично, фотографии других он неоднократно видел на газетных страницах. Вошел полковник — начальник ПВО города, за ним — директор Кировского завода, потом начальник управления НКВД... Вошел и, кивнув присутствующим, быстро направился к Васнецову председатель Ленсовета Попков — до синевы выбритый, широкоплечий человек в гимнастерке. И снова отворилась дверь, пропуская на этот раз высокого, худощавого усатого старика, в старомодном черном костюме и вязаном узеньком галстуке.

«Да ведь это Верин отец! — воскликнул про себя Звягинцев и едва удержался, чтобы не вскочить ему навстречу. — Как он-то сюда попал?»

Однако Звягинцев тут же ответил себе на этот вопрос. Он знал, что отец Веры — кадровый путиловский рабочий, а его присутствие здесь говорило и о том, что он был, очевидно, членом парткома завода или даже бюро райкома.

Но все это промелькнуло в сознании Звягинцева лишь мельком и мгновенно было вытеснено тревожной мыслью: «Где Вера?»

Он хотел было подойти к Ивану Максимовичу Королеву и спросить, уехала ли Вера или, к счастью, так и не уезжала, но старик, кивнув Васнецову, направился к противоположной стене, чуть покачивая своими длинными руками.

...Когда все расселись, Васнецов взял со стола листок бумаги и вполголоса сказал:

— Бюро горкома собрало вас, товарищи, чтобы познакомить с телеграммой, полученной из Москвы.

Медленно, выделяя отдельные фразы, он начал читать. В телеграмме говорилось о том, что в течение 22—23 июня, то есть завтра или послезавтра, возможно внезапное нападение немецко-фашистских войск на территорию ряда приграничных округов, в том числе и Ленинградского. Задача — не поддаваться ни на какие провокации. Однако войскам округа предписывалось в ночь на 22 июня скрытно занять огневые точки в укрепленных районах на государственной границе, а перед рассветом сосредоточить на полевых аэродромах авиацию, тщательно ее замаскировав...

Васнецов окончил чтение, положил бумагу на стол и сел.

Наступила тишина. Молчал и Васнецов, точно желая дать возможность собравшимся оценить ситуацию, до конца ощутить нависшую угрозу.

Молчание длилось несколько секунд. Люди сидели, опустив голову или устремив вперед сосредоточенный взгляд.

Молчал и Звягинцев, в который уже раз просматривая сделанные им заметки в блокноте и вычеркивая ненужное, на случай, если придется говорить. Звягинцеву было приказано ограничить свое сообщение самой сжатой характеристикой инженерных работ в укрепленных районах на границе.

Неожиданно прозвучавший голос заставил Звягинцева быстро поднять голову.

— Это что же? Война?!

Спрашивал Иван Максимович Королев. Он сидел, положив на колени широкие ладони своих длинных рук и чуть подавшись вперед.

— Не знаю, — без промедления ответил Васнецов. — В телеграмме сказано ясно: возможны провокации. — Помолчал мгновение и добавил уже тише: — Может быть, Иван Максимович, и война...

Снова наступила тишина.

Но длилась она недолго. Васнецов перевел взгляд на Звягинцева и сказал:

— Товарищи, здесь присутствует майор... товарищ Звягинцев из штаба округа. Вы знаете, что на границе с Финляндией, в укреплен-

ных районах, у нас ведутся большие и срочные работы. Товарищ Звягинцев только что вернулся с границы, где проверял ход этих работ. Есть предложение послушать, как обстоят сейчас дела с оборонительным строительством.

Люди негромко, но одобрительно зашумели, почувствовав облегчение оттого, что тишина нарушилась.

Звягинцев встал. Все необходимые заметки были им предварительно сделаны в блокноте, и сейчас он держал этот блокнот перед собой, собираясь начать говорить.

И хотя еще минуту назад Звягинцеву было ясно, с чего он начнет свое сообщение и чем закончит, теперь, когда все ожидали его слов, он, казалось, в растерянности молчал.

Прошло несколько мгновений, и Звягинцев увидел, что Васнецов смотрит на него с некоторым недоумением, чуть приподняв свои густые брови, и понял, что должен немедленно начать говорить.

И все же молчал...

Намеченный Звягинцевым и согласованный с командованием план его выступления был предельно краток и ясен. Ему предстояло сообщить, что на границе интенсивно ведутся строительные работы, которые в надлежащие сроки будут полностью закончены и, как принято говорить в таких случаях, окончательно закроют границу «на замок». Однако работы эти надо сейчас вести намного быстрее. И поскольку в округе еще не хватает инженеров-строителей, то было бы весьма желательно призвать из запаса некоторое количество гражданских инженеров.

Словом, смысл речи Звягинцева, которую ему предстояло сейчас произнести, сводился к тому, что хотя границу и следует укрепить еще сильнее, тем не менее все обстоит благополучно, и если враг осмелится напасть, то получит сокрушительный удар.

Такова была привычная схема всех выступлений военных людей в гражданской аудитории, этой схеме должен был следовать и Звягинцев.

И еще несколько минут назад закономерность именно такого выступления не вызывала у него никаких сомнений. В течение многих лет Звягинцев привык к тому, что независимо от реального положения дел, о котором военные нередко откровенно говорили между собой и на своих служебных совещаниях, в основе всех выступлений перед людьми гражданскими лежал неизменный план-конспект: необходима бдительность, надо держать порох сухим, однако на любой удар врага мы ответим тройным ударом и будем бить противника на его собственной территории.

Такова была схема, и Звягинцев, независимо от своих размышлений, считал ее естественной и как бы само собой разумеющейся.

И тем не менее в тот самый момент, когда ему предстояло начать говорить именно по этой схеме, он вдруг понял, что не может произнести привычные слова. Не может потому, что с особой силой ощутил, что стоит сейчас перед партией, что на него с тревогой и ожиданием смотрят люди, которые избраны сотнями тысяч коммунистов, и любая попытка скрыть от них истинное положение дел была бы бесчестной, преступной.

В комнате уже послышался недоуменный шумок. Васнецов, еще выше приподняв брови, теперь уже с выражением явного удивления и недовольства глядел на Звягинцева, когда тот неожиданно для всех и прежде всего для самого себя сказал:

— Товарищи, я только что вернулся с границы. Положение крайне серьезное...

Мгновенно снова наступила тишина. Все взгляды были неотрывно обращены к Звягинцеву. Внимательно смотрел на него и Васнецов, но в выражении его лица была теперь настороженность, тревожное ожидание.

Звягинцев, казалось, не замечал всего этого. Им полностью овладело то же самое чувство, какое он испытал тогда, почти полтора года назад, когда стоял на кремлевской трибуне и, не думая ни о чем — ни о впечатлении, которое сможет произвести его речь на собравшихся, ни о своей дальнейшей судьбе — и на какой-то момент забыв даже о присутствии самого Сталина, — взволнованно и торопливо говорил о том, что наболело, то, что он должен был сказать, несмотря ни на что.

И вот теперь Звягинцев рассказал о том, что слышал от разведчика Тойво, подробно и ничего не утаивая, сообщил о степени готовности оборонительных сооружений и закончил предположением, что если немцы и задумали только провокацию, то тем не менее надо быть готовым ко всему.

Он окончил говорить так же неожиданно, как и начал, сел и оглядел присутствующих. Никто не шелохнулся. В тишине было слышно, как Васнецов тихо постукивает карандашом по стеклу, прикрывавшему письменный стол.

Звягинцев понял, что наговорил, кажется, лишнего, что его речь если и не шла вразрез с оглашенной Васнецовым телеграммой, то явно выходила за ее пределы.

В ушах Звягинцева еще звучали его собственные, только что произнесенные слова, и только минутой позже к нему как бы издалека донесся голос Васнецова.

Секретарь горкома никак не комментировал речь Звягинцева — точно ее и не было. Он говорил о том, что полученные директивы предусматривают затемнение некоторых городов и военных объектов, установление дежурств и присутствующим здесь представителям МПВО, директорам наиболее крупных предприятий

надлежит доложить о готовности выполнить эту директиву.

— Я понимаю, — продолжал Васнецов, — что поскольку цель данного совещания не была заранее объявлена, вам необходимо время, чтобы собраться с мыслями. Поэтому объявляется перерыв на десять минут.

Он сел, придвинул к себе какие-то бумаги, взял из пластмассового стаканчика цветной карандаш и погрузился в чтение.

Раздался негромкий гул голосов. Люди встали со своих мест, стали собираться кучками, некоторые вышли в коридор, закуривая на ходу.

Звягинцев растерянно огляделся, потом остановил свой взгляд на Васнецове. Ему хотелось подойти к нему, спросить, как бы между прочим: «Не слишком ли я загнул?» — понять, какое впечатление произвела его речь.

Но Васнецов не поднимал головы. «Разумеется, сообщит в Политическое управление округа, — с горечью подумал Звягинцев, — придется писать объяснение... Ну и ладно! — сказал он себе с какой-то бесшабашной беспечностью. — Я не на площади говорил. Здесь сидят члены бюро горкома, секретари райкомов, директора крупнейших предприятий. Перед ними врать нельзя. Они все должны знать. Все».

Он тряхнул головой, увидел, что к двери направляется и Иван Максимович Королев, снова вспомнил о Вере и устремился за ним.

В коридоре он легонько прикоснулся к плечу Королева и, когда тот обернулся, сказал:

— Здравствуйте, Иван Максимович, мы ведь знакомы.

— Здорово, майор, — ответил, пристально вглядываясь в него, Королев, — Помню. Павла сослуживец. Верно?

— Да, да, — торопливо подтвердил Звягинцев.

— Так что же, война? — строго спросил Королев.

— Еще трудно сказать, — смущенный его требовательно-строгой манерой, ответил Звягинцев, — возможны провокации. Однако...

— Что вы все заладили — «провокации, провокации»!.. — перебил его Королев. — Я про существо, не про название спрашиваю.

— Не думаю, чтобы они решились всерьез, — неуверенно начал было Звягинцев, стараясь хотя бы сейчас сгладить впечатление от своей явно самовольной речи, но Королев снова прервал его.

— Не думаешь!.. — слегка растягивая слова, повторил он. — А что Гитлер думает, ты знаешь? Это для меня сейчас важнее.

Он сделал движение рукой, как бы отмахиваясь от Звягинцева, и, вытащив из кармана пачку «Ракеты», отвернулся в сторону.

— Иван Максимович, я хочу вас спросить... — с неожиданной робостью произнес Звягинцев.

Королев сосредоточенно раскуривал папиросу, не глядя на него.

— Я хочу вас спросить, — повторил Звягинцев, — о Вере... Где она? Последний раз, когда мы говорили по телефону, она сказала, что собирается уехать...

Королев покрутил в желтых пальцах обгоревшую спичку, сунул ее обратно в коробку и пробурчал:

— Уехала. В Белокаменск. К тетке.

— Я думаю, ее надо срочно вызвать обратно. Конечно, это не север, Белокаменску ничего не грозит, но все же...

На этот раз Королев пристально поглядел на Звягинцева.

— Вызвать, говоришь?.. — повторил он, потом ухватил двумя пальцами Звягинцева за портупею, слегка притянул к себе и, понизив голос, спросил: — Значит, будет война, майор?

— Боюсь, что будет, Иван Максимович, — чуть слышно ответил Звягинцев.

— Так, так, — покачал головой Королев. Потом вынул часы, открыл крышку, посмотрел и сказал: — Пора. Прошли наши десять минут.

В этот момент дверь, ведущая в кабинет Васнецова, открылась и чей-то громкий голос произнес:

— Майора Звягинцева к телефону!

Звягинцев поспешно вернулся в кабинет. Васнецов по-прежнему сидел, казалось, погруженный в чтение. Трубка одного из телефонов была снята и лежала на столе.

Когда Звягинцев подошел, Васнецов, не глядя на него, кивнул на лежащую трубку и коротко сказал:

— Из штаба.

Звягинцев схватил трубку, плотно прижал ее к уху. Незнакомый голос произнес:

— Майор Звягинцев? Говорит дежурный. Вас вызывает начштаба. Машина за вами вышла.

Слова: «Что-нибудь случилось? Важное?» — были уже готовы сорваться с языка Звягинцева, но он вовремя сдержался и только спросил:

— Меня одного?

Наступила короткая пауза. Затем снова раздался голос дежурного, на этот раз он прозвучал несколько глуше и не так решительно:

— Нет... Общая тревога. Явиться через тридцать минут.

Звягинцев подтянул рукав гимнастерки и посмотрел на свои ручные часы.

Был час ночи. Начиналось 22 июня 1941 года.

X

Из советского посольства начали звонить еще с утра. Звонили по разным телефонам — в протокольный отдел, в политический департамент, в секретариат министра, требуя, чтобы Риббентроп принял советского посла. От-

веты были стереотипны: господина министра на месте нет. Он вне пределов города, и неизвестно, когда вернется. Через некоторое время в министерстве снова раздавался звонок... Регулярно, через каждые полчаса. По этим звонкам можно было проверять время.

Выполняя инструкцию Гитлера, Риббентроп всю субботу не появлялся в своем министерстве на Вильгельмштрассе из опасения, что кто-либо из чиновников увидит его и ответит русским, что господин министр у себя в кабинете.

Риббентроп знал, почему советский посол так настоятельно хочет встретиться с ним. В последние дни представители посольства не раз посещали министерство иностранных дел, требуя довести до сведения германского правительства советские претензии: самолеты германских вооруженных сил систематически нарушают границу. На этот раз посольство, очевидно, решило заявить очередной протест самому министру непосредственно.

Однако подобного рода встреча не входила в намерения Риббентропа, поскольку он напряженно готовился к другого рода свиданию с советским представителем — 22 июня в три часа утра. Потому что именно в это время — через час после того, как немецкие войска нападут на Советский Союз, — ему, Риббентропу, надлежало вызвать советского посла и объявить ему, что война с его страной началась.

Чувства, владевшие в тот субботний день Риббентропом, были бурными и противоречивыми. Он испытывал душевный подъем, радостное волнение и в то же время ощущал некую не осознанную им самим до конца тревогу, даже страх.

Это ощущение не имело ничего общего с тем, что принято называть угрызениями совести. Риббентроп презирал само это понятие «совесть», как жалкую, либеральную, христианскую выдумку, как своего рода путы, стесняющие ум и поступки истинного национал-социалиста.

Усвоить подобное отношение к вопросам морали Риббентропу было очень легко, потому что по натуре своей он был человеком жестоким, к тому же хитрым и властолюбивым карьеристом.

Подавляющее большинство активных национал-социалистов были людьми именно такого сорта. Однако далеко не все они являлись вдобавок и трусами. Риббентроп же был трусом. Боязнь расплаты почти всегда жила в его сознании. Он напоминал человека, вознесенного на огромную высоту, который время от времени все же заглядывает вниз, в пропасть и с замиранием сердца переживает весь ужас возможного падения. Чаще всего Риббентропу удавалось заглушить это чувство настолько, чтобы не ощущать его вовсе. Но порой оно просыпалось, и тогда все его существо охватывал страх.

То, что именно ему предстояло сделать историческое заявление советскому послу, наполняло все существо Риббентропа тщеславным ощущением собственной значительности. Если до сегодняшнего дня и могли быть какие-то сомнения насчет того, войдет ли он в мировую историю или будет навсегда заслонен огромной, мрачной тенью своего фюрера, то на рассвете завтрашнего дня все сомнения исчезнут. Думать об этом было для Риббентропа истинным наслаждением. Стоя перед огромным зеркалом в своей напоминавшей дамский будуар спальне, он мысленно произносил слова, которым завтра же вечером предстоит появиться на страницах всей мировой прессы рядом с его портретом.

Было приятно, радостно предвкушать это. Чтобы придать своим чувствам особую остроту, Риббентроп стал воспроизводить в памяти наиболее унизительные для себя эпизоды во время своей московской встречи с Молотовым. Как он страдал, как мучился оттого, что не мог, не имел права сказать этому человеку в пенсне, какое будущее ожидает его уже обреченную страну, объявить ей смертный приговор!

Риббентроп ненавидел эту страну — ее необъятные пространства, равные десяткам Германий, ее таинственные, непроходимые леса, ее людей, уверенных в своей силе, которым он должен был льстиво улыбаться во время своего визита в Москву...

И то, что теперь именно ему, Риббентропу, предстояло совершить исторического значения акт — объявить советскому послу, что война уже началась и нет такой силы, которая могла бы остановить лавину немецких войск, — делало его счастливым. Он предвкушал ту роль, которую ему предстояло сыграть на сцене истории.

И все же... к этому чувству радости, гордости и злорадства примешивалось и нечто совсем иное: страх.

Страх был свойствен отнюдь не только одному Риббентропу. Многие из нацистской партийной и военной верхушки испытывали страх перед будущим. Подобно Риббентропу, эти люди гнали от себя это чувство, глушили его воспоминаниями о прошлых победах, мыслями о непобедимости немецкой армии, об исторической миссии Германии. Но страх никогда не исчезал окончательно из их сознания. Это был страх игрока, делающего огромную ставку. И хотя игрок знает, что карты его крапленые, и поэтому уверен в выигрыше, он все же боится неудачи.

Боится потому, что ставка огромна, потому, что она включает в себя не только все, чем владеет игрок, но и саму его жизнь. Ведь карты все же могут подвести, ведь всегда есть какая-то ничтожная возможность проигрыша, и тогда неотвратимо настанет час расплаты.

Именно это чувство страха, пока еще смутное, безотчетное, и мешало сейчас Риббентропу целиком насладиться той ролью, которую ему

предстояло сыграть. Он гнал его прочь, снова и снова повторяя про себя слова фюрера о том, что с Россией будет покончено в считанные недели, вызывал в своей памяти руины Варшавы, улицы городов Австрии, Чехословакии, Бельгии, заполненные марширующими немецкими войсками, парижскую Эйфелеву башню с венчающим ее огромным нацистским флагом... И все же щемящее чувство тревоги не проходило.

Риббентроп позвонил в министерство. Секретарь доложил, что из советского посольства продолжают настойчиво добиваться встречи с господином министром...

Риббентроп подтвердил прежнюю инструкцию: его нет в городе. Его местопребывание неизвестно. Руководящему составу и переводчикам по окончании рабочего дня не расходиться. Никаких отлучек. Никаких субботних выездов за город. Быть на месте весь вечер. Всю ночь...

Повесив трубку, он снова погрузился в размышления. Попытался представить себе улицы завтрашнего Берлина: выкрики газетчиков, ликующие толпы людей, здание советского посольства на Унтер-ден-Линден, — первая плененная советская территория...

Около трех часов утра в советском посольстве раздался телефонный звонок. Сухо и коротко чиновник министерства иностранных дел просил известить посла, что господин Риббентроп просит его срочно прибыть к нему.

...А Риббентроп в это время в своем служебном кабинете уже много раз прорепетировал все то, чему предстояло произойти в назначенный час. Садился за стол, величественный и мрачный. Медленно, опираясь обеими руками о полированную поверхность, вставал, воображая, как советский посол входит в широко раскрывшуюся перед ним дверь. Надменно, не подавая руки, кивал, предлагая послу сесть, и сам первым опускался в кресло. Снова и снова повторял слова, которые предстоит выслушать послу. И наконец, опять вставал, чтобы уже по всей форме вручить советскому представителю официальный меморандум — копию того документа, который в то же самое время Шулленбург передаст Молотову в Москве.

Итак, казалось, все было продумано и отрепетировано заблаговременно, и у Риббентропа не было оснований беспокоиться за ход предстоящей церемонии. Та роль, к которой он готовился со вчерашнего дня, — нет, все последние годы! — будет сыграна им блестяще. И тем не менее, когда стрелки больших стоячих часов стали приближаться к трем, Риббентроп вновь ощутил то тошнотворное, сосущее чувство, которое называется страхом.

Нет, он боялся не того, что может сбиться, смутиться и церемония будет испорчена. Он думал о другом. Ведь это ему, именно ему, предстоит стать тем человеком, который формально объявит войну России!.. И этого уже никогда не забудет мир. И уже никогда и ни при каких условиях ему, Риббентропу, не удастся отрицать, что этим человеком был именно он...

Все последние месяцы он вожделенно ждал исторического момента. Горячо поддерживал все планы фюрера, касающиеся предстоящей войны с Россией. Да и сейчас, если можно было бы вот здесь, в тишине кабинета, без всяких свидетелей, просто нажать кнопку и взорвать ту страну со всеми ее людьми, городами и селами, он, Риббентроп, сделал бы это с огромной радостью, не испытывая никаких чувств, хоть сколько-нибудь напоминающих угрызения совести.

Угрызений совести Риббентроп не испытывал и теперь. Но страх, подсознательное опасение, что когда-нибудь может настать другой час и придется держать ответ, овладевали им все больше и больше.

Пройдут годы, и переводчик Шмидт, наблюдавший за Риббентропом в последние минуты, предшествующие появлению советского посла, напишет, что никогда не видел своего шефа столь взволнованным, бегающим взад и вперед по огромному кабинету, точно попавший в клетку зверь...

Даже отдаленно не догадывающийся о причине ночного вызова, уверенный, что поводом явились его собственные настойчивые просьбы, советский посол появился в кабинете Риббентропа ровно в три тридцать.

Здороваясь, он протянул руку вставшему из-за стола министру. Этой возможности Риббентроп не предусмотрел и сделал несколько нерешительных нервных движений, то чуть приподнимая, то опуская руку, прежде чем решился обменяться с послом коротким рукопожатием. Затем он величественно кивнул, приглашая посла сесть, и сам первым опустился в свое кресло. И хотя Риббентроп много раз прорепетировал все, что должно было сейчас произойти, волнение его было так велико, что в первые секунды он не мог выговорить ни слова.

Посол истолковал молчание Риббентропа по-своему. Он решил, что министр просто ждет, чтобы ему изложили то дело, ради которого с ним так настойчиво добивались встречи, и начал говорить первым.

Он заявил, что имеется ряд вопросов, нуждающихся в немедленном разъяснении, и что Советское правительство настаивает, чтобы...

Но в этот момент Риббентроп прервал посла. Громко, даже визгливо, точно желая заглушить свой внутренний голос, он сказал, что все, о чем собирается говорить посол, теперь не имеет никакого значения. Речь сейчас пойдет совсем о другом... И, суматошно передвигая лежащие на столе предметы, он обрушил на посла поток слов...

Он кричал ему, оцепеневшему от неожиданности и недоумения, что Германия проникла в

тайные замыслы коварного Советского Союза, что фюреру из достоверных источников стало известно о готовящемся нападении России на Германию и он был вынужден принять действенные контрмеры... Затем, задохнувшись, Риббентроп сделал паузу и торжественно объявил: полчаса тому назад немецкие войска атаковали границу Советского Союза...

Самого по себе факта объявления войны без повода, без какого-либо предупреждения было бы достаточно, чтобы ошеломить посла.

Но содержащаяся в словах Риббентропа наглая, возмутительная ложь о «тайных замыслах» и «контрмерах», ложь, которой не потрудились придать хотя бы отдаленное правдоподобие, поразила его в не меньшей степени.

Риббентроп наконец умолк, встал и, взяв со стола заранее отпечатанный меморандум, театральным жестом вручил его послу.

Посол тоже встал, медленно сложил бумагу вчетверо и, не читая, опустил ее в карман пиджака.

Несколько секунд длилось молчание. Слышно было, как тяжело дышал Риббентроп. На кончике носа его висела крупная капля пота.

Наконец овладев собой, посол холодно и внешне спокойно высказал сожаление по поводу событий, ответственность за которые целиком и полностью ложится на Германию. «Какая наглая агрессия! Вы еще пожалеете об этом...» — сказал посол. Свои последние слова он произнес, глядя прямо в глаза Риббентропу. Затем, едва кивнув, повернулся и медленно направился к двери.

Но именно эти последние слова посла снова вызвали в Риббентропе прилив того знакомого чувства, с которым он так долго и тщетно боролся. Он нервно передернул плечами, совсем как Гитлер. Неожиданно для переводчика он вышел, почти выбежал из-за стола, догнал посла на полпути к двери и пошел рядом с ним, время от времени касаясь рукой рукава его пиджака. Он, видимо, хотел что-то сказать, но не находил слов.

Так они дошли до двери — посол и то отставший, то обгонявший его Риббентроп.

И вдруг уже у самой двери Риббентроп снова придержал посла за рукав и едва внятно, сбивчивой скороговоркой сказал:

— Сообщите туда... в Москву... Я... не хотел этого... я... уговаривал фюрера. Но...

Последние слова он произнес в пустое пространство, потому что посол, не оборачиваясь и не замедляя шага, уже вышел из кабинета в сопровождении своего переводчика.

Риббентроп растерянно потоптался у порога, повернулся и направился обратно к своему столу. По дороге он взглянул на часы. Было без двадцати минут четыре. Уже час и сорок минут прошло с начала войны, и не было той силы в мире, которая могла бы ее остановить.

...Риббентроп взглянул на все еще безмолвно стоящего у стены Шмидта, усмехнулся и сказал:

— Жребий брошен!

Он ждал, что переводчик что-то скажет в ответ, но тот молчал.

— Передайте, чтобы через десять минут у меня собрался руководящий состав министерства, — раздраженно приказал Риббентроп и, когда Шмидт, поклонившись, направился к двери, крикнул ему вдогонку: — Нет, через двадцать минут!

...Ему нужны были эти двадцать минут, чтобы прийти в себя, успокоиться. Так убийца, вонзив нож в спину своей жертвы, смятенно ищет тихое, укромное место, где он мог бы перевести дыхание, смыть кровь с рук, убедиться, что ему ничто не грозит.

Риббентроп открыл один из ящиков стола, вынул небольшое овальное, оправленное в серебро зеркало. Он всегда имел под рукой это зеркало, чтобы в необходимый момент убедиться, что находится в полной форме. Риббентроп был груб, напорист, но в то же время кокетлив, считая себя одним из самых красивых мужчин Германии. Полки в его ванной комнате были уставлены флаконами духов и одеколона, банками с различными кремами. Он постоянно следил, чтобы пробор, разделяющий его гладко прилизанные, набриолиненные волосы, всегда оставался безукоризненным, а кожа на лице — чистой и нежной.

На этот раз, посмотрев в зеркало, Риббентроп увидел, что лицо его покрыто каплями пота и взмокшие волосы слиплись на лбу. Он поспешно сунул зеркало обратно в ящик. Прошел в примыкающую к его кабинету комнату отдыха и стал поспешно заниматься приведением себя в порядок.

Когда Риббентроп снова появился в кабинете, до назначенного совещания оставалось еще десять минут.

Он потушил электрический свет и отдернул шторы. За окном было уже утро. Открыл окно. Несколько мгновений пристально вглядывался в пустынную улицу. «Ну конечно, — подумал он, — люди еще ничего не знают. До объявления по радио и до выхода утренних газет осталось два часа...»

Дневной свет успокоил Риббентропа. Утро начиналось тихим, безоблачным, солнечным. Щемящее чувство страха стало проходить. Он перешел к другому окну, выходящему в парк. Это был исторический парк, как, впрочем, и само здание на Вильгельмштрассе. Когда-то по этому парку прогуливался князь Бисмарк, обдумывая будущее Германии. Этот человек рассматривал германо-русский союз как огромное достижение своей внешней политики... Риббентроп вспомнил, как почти два года назад, информируя в этом же кабинете своих ближай-

ших сотрудников о только что заключенном германо-советском пакте, сослался на Бисмарка. Тогда он, Риббентроп, стоял у этого же окна и, широким жестом протягивая руку в парк, сказал: «Если бы покойный хозяин этого парка мог бы нас сейчас слышать, то его первыми словами были бы слова одобрения». В той своей речи он вообще не раз ссылался на Бисмарка... «Глупости! — мысленно оборвал себя Риббентроп и отошел от окна. — Сейчас не девятнадцатый век. Большевистская Россия не имеет ничего общего с той, царской. А фюрер выше Бисмарка. Выше, выше!»

Ему доставляло удовольствие повторять про себя эти слова. И не только потому, что они успокаивали его, укрепляли уверенность в успехе начавшейся кампании. Была и другая причина. Каждый раз, когда Риббентроп вызывал в своем воображении образ Бисмарка, он испытывал смешанное чувство восхищения и неприязни. Он был горд оттого, что руководит внешней политикой Германии, которая некогда являлась прерогативой самого «железного канцлера». И в то же время Риббентроп сознавал, что этот надменный и властный аристократ, высокомерный сноб, не пустил бы его, Риббентропа, человека без рода и племени, даже на порог своего кабинета.

...Шли минуты, и в его настроении происходил значительный перелом. Нет, у него не было причин волноваться. Немецкая армия непобедима. А победителей не судят. Судят они...

И опять-таки, подобно убийце, который в первые секунды после совершенного преступления дрожит от страха при мысли, что его могли заметить, а потом, убедившись, что находится в безопасности, обретает спокойствие, Риббентроп наконец полностью овладел собой.

И когда вызванные им чиновники стали входить в кабинет, они увидели прежнего, хорошо знакомого им Риббентропа, вылощенного, самоуверенного, высокомерного...

Медленно, торжественно он сообщил собравшимся о начале войны с Россией. Потом, понизив голос, таинственно добавил, что фюрер получил информацию о том, что Сталин прилагал огромные усилия для укрепления Красной Армии и роста ее могущества, чтобы в подходящий момент напасть на Германию. Но фюрер разгадал и сорвал намерения большевиков. Он не мог допустить, чтобы благополучие Германии висело на волоске. Он ударил первым. Теперь наш тыл не будет находиться в зависимости от благорасположения Сталина. Наше будущее в наших руках. Хайль Гитлер!

Он милостиво разрешил задавать вопросы. Его спросили: какие имеются прогнозы относительно длительности войны? Риббентроп ответил коротко и определенно: максимум восемь недель. Не больше? Ни в коем случае. Так сказал фюрер! Значит, все же война на два фронта? Чепуха! В течение двух месяцев мы сможем, если это необходимо, воевать и на два фронта. Значит, полная перемена нашей внешней политики?..

Этот последний вопрос задал некто Рихтер. Один из старейших чиновников министерства. Один из очень немногих оставшихся на службе после снятия Нейрата и последовавшей за этим чистки личного состава. Тогда Рихтера пощадили. Не из-за милосердия. Просто этот старикашка, прослуживший в министерстве без малого сорок лет, считался живой энциклопедией внешней политики Германии. Его память хранила факты и события, которые нельзя было восстановить ни по каким архивным документам. Он считался полезным.

Но сейчас, услышав вопрос Рихтера, Риббентроп взглянул на него с нескрываемой злобой. Несомненно, машинная память этого старикашки слово в слово зафиксировала то, что сказал Риббентроп тогда, в августе тридцать девятого, по случаю заключения германо-советского пакта. Вот они, эти слова: «Наш договор с Россией дает возможность не беспокоиться за тыл Германии и ликвидирует опасность войны на два фронта, которая однажды уже привела нашу страну к катастрофе. Я рассматриваю заключенный союз как величайшее достижение моей внешней политики...»

Да, именно так заявил Риббентроп два года назад... Что же хочет сказать этот нейратовский холуй, чей рамолический мозг опутан тенетами старомодной, либеральной дипломатии? Уж не то ли, что, по существующим международным традициям, ему, Риббентропу, в создавшейся ситуации необходимо подать в отставку?

Он ответил на вопрос Рихтера коротко, но злобно: будущее Германии в руках фюрера. С теми, кто в этом сомневается, мы разделаемся железным кулаком.

Это было все. Риббентроп закрыл совещание. Когда все разошлись, вызвал начальника личного состава министерства и сказал ему, что в условиях новой, решающей войны должна проявляться максимальная бдительность. Все, кто вызывает малейшее сомнение в своей лояльности фюреру и великой Германии, должны быть немедленно изгнаны. Например, этот Рихтер... Нет, нет, никакой пенсии. Германия не может позволить, чтобы ее деньги транжирились по пустякам, в то время как каждая марка необходима для ведения войны. Это было бы равносильно измене...

В начале девятого Риббентроп покинул министерство, приказал шоферу медленно проехать по улицам Берлина. Ведь прошло уже более двух часов с тех пор, как радио объявило немецкому народу о величайшем событии в истории Германии...

Хотя до него и доносились выкрики продавцов утренних газет: «Война с Россией!», «Фюрер сделал решительный шаг!», — однако он

не заметил на берлинских улицах ни оживления, ни ликования. Скорее наоборот — ощущалась атмосфера какой-то тишины и подавленности. Люди шли на работу, понуро склонив головы. Риббентроп опустил стекло, придвинулся к краю сиденья, так, чтобы его могли увидеть и узнать прохожие. Стоящие на перекрестках штурмовики приветствовали Риббентропа быстрыми взмахами рук. На Кудам нетвердо шагающая, ярко накрашенная, немолодая женщина, должно быть подвыпившая проститутка, не то отдавая нацистский салют, не то посылая воздушный поцелуй, громко, но хрипло крикнула: «Хайль Гитлер!» Однако прохожие — рабочие и служащие, идущие на заводы в этот ранний час, — казалось, не обращали никакого внимания ни на огромную черную машину Риббентропа, ни на него самого.

Он вспомнил августовский день 1939 года, когда радио объявило о заключении германо-советского пакта. Из сводок гестапо, основанных на донесениях осведомителей, можно было заключить, что народ вздохнул с облегчением. Да и в последующем в этих сводках нередко приводились высказывания, сводившиеся, по существу, к одной мысли: «Фюрер прав, заключив договор с Москвой. Да и зачем нам воевать с Советами? Не лучше ли получать от них по договору необходимое продовольствие в обмен на станки и машины? Может быть, теперь жизнь станет полегче...»

«Ничего, — мысленно произнес Риббентроп, — скоро все изменится! Они быстро возликуют, наши немцы, как только услышат первые победные сводки с Восточного фронта, как только поезда и автомашины, груженные русским маслом и свиными окороками, устремятся в Германию...»

Он приказал шоферу проехать по Унтер-ден-Линден. Поднял стекло в кабине и отодвинулся на середину сиденья, когда машина стала приближаться к зданию советского посольства. Неожиданно сжал кулаки. Он увидел флаг, развевающийся над домом посольства, — огромное красное полотнище с изображением серпа и молота.

«Какая наглость! — пробормотал Риббентроп. — Какая самоуверенность! Это вызов! В такой момент...» С чувством злорадного удовлетворения он заметил, что окна в посольстве наглухо зашторены, а само здание оцеплено полицией. Несколько эсэсовцев стояли у дома напротив, прислонив к стене свои мотоциклы... «Жалко, что этой картины не может наблюдать фюрер, — подумал Риббентроп. — Советский Союз в миниатюре, окруженный вооруженными немцами. Символ...»

Да, Гитлер не мог увидеть этой картины, хотя она, несомненно, порадовала бы его.

В это время он находился далеко от Берлина. Вообще в последнее время как в столице, так и в своем любимом Бергхофе Гитлер бывал лишь наездами и на короткое время. Во время нападения на Польшу его штаб-квартира находилась в специальном поезде, стоявшем близ Коголина. Несколько позже он переехал в отель в Сопоте.

В начале западной кампании он перенес свою ставку в бункер близ Бад-Наухейма. А позже основал ее в Восточной Пруссии, недалеко от Растенбурга.

Эту свою ставку Гитлер назвал «Логовом волка»... Волк был вообще тем зверем, которому наиболее симпатизировал фюрер. Он являлся для него любимым поэтическим образом. Его овчарку Блонди было трудно отличить от волка. Иногда в минуты мистических размышлений Гитлер и себя представлял в образе волка — сильного, хищного, коварного, всегда голодного, жаждущего добычи зверя, обитателя мрачных лесов...

...В то время как Риббентроп, точно попавший в клетку зверь, метался по своему министерскому кабинету, Гитлер уже отдал все необходимые приказания относительно предстоящего через несколько часов наступления по всей германо-советской границе. Он только что закончил последние переговоры с генералами, стоящими во главе основных армейских групп «Север», «Центр» и «Юг», и теперь сидел в своем «Логове», со всех сторон прикрытом дремучим лесом, диктовал письмо Муссолини.

Это было для Гитлера нелегким делом. Профессиональный обманщик, отличавшийся от обыкновенных обманщиков главным образом тем, что ложь его всегда была «колоссальна», он не доверял полностью никому, в том числе и Муссолини.

Поэтому Гитлер до последнего момента скрывал от своего главного союзника дату нападения на Советский Союз и лишь 21 июня, в одиннадцатом часу вечера начал диктовать послание итальянскому дуче, которого публично не раз называл своим учителем и верным другом.

Это был любопытный документ, раскрывающий одну из сторон характера Гитлера. С его страниц вставал не просто лжец, но лжец вдохновенный. Казалось бы, какой смысл Гитлеру обманывать Муссолини, человека, отлично знавшего истинные намерения фюрера и все его побудительные мотивы? Итальянский диктатор был не менее кровожаден и властолюбив, чем диктатор немецкий. Просто возможности дуче были более ограниченны, чем возможности фюрера. Между ними иногда всплывали некоторые противоречия, неизбежные среди хищников. Однако основные планы Гитлера — а нападение на Советский Союз, разумеется, входило в эти планы — Муссолини знал и одобрял.

И тем не менее Гитлер, убежденный, что сумеет и на этот раз обмануть мир относительно своих истинных намерений, не сделал

исключения и для Муссолини, хотя в этом не было никакой нужды. Может быть, он все-таки боялся суда истории и ныне пытался обмануть не только современников, но и потомков?..

Гитлер ходил взад и вперед по обширному кабинету своего подземного штаба и диктовал:

«Дуче! Я пишу вам это письмо в момент, когда месяцы мучительных размышлений и нервного напряжения закончились одним из самых великих решений, которые я когда-либо принимал в своей жизни...»

Он пространно и напыщенно излагал причины, заставившие его принять это решение. О нет, не жестокость, не жажда мирового владычества руководили им, но неумолимая логика событий. Теперь, когда Франция повержена, а Англия находится при последнем издыхании, все ее сопротивление, все надежды связаны с Россией, на помощь которой она тайно рассчитывает. Покорение России автоматически означает падение Англии. Пока существует Россия, Англия будет сопротивляться... Англичане всегда хотели, чтобы война началась именно там, на Востоке, продолжал диктовать Гитлер, но раньше это было бы в их интересах. Теперь эта война будет означать для них гибель...

Он жаловался Муссолини, что до сих пор никогда не имел возможности собрать все свои силы для удара по Англии, потому что должен был держать основную часть наземных войск и воздушного флота на востоке. Но теперь, покончив с Россией...

Затем Гитлер стал излагать свои планы, касающиеся скорого поражения России, позицию в отношении Франции, взгляды относительно дальнейшей судьбы Северной Африки, Испании, Египта... Он сделал паузу, обдумывая внезапно пришедшую ему в голову мысль. Она была связана с возможной реакцией Муссолини на это письмо. Потом поспешно продиктовал:

«...возвращаясь к вопросу о войне с Россией, хочу сказать, что эту кампанию мы берем на себя, и Вам нет необходимости посылать на наш Восточный фронт итальянские войска...»

Снова сделал паузу. Представил себе Муссолини, читающего письмо. Вряд ли ему понравятся эти последние строки. Что ж, каждому свое. Русский пирог Германия будет есть сама, что же касается дуче...

«...что же касается Италии, — снова возобновил диктовку Гитлер, — то она могла бы оказать нам серьезную помощь, усилив свои войска в Северной Африке и сделав необходимые приготовления к походу во Францию, если Виши не будет соблюдать договора или там возникнут какие-либо иные беспорядки...»

Он усмехнулся и подумал, что это будет неплохой приманкой для жаждущего новых территорий дуче.

Он подписал перепечатанное письмо — оно заканчивалось словами: «С сердечным и боевым приветом» — и приказал отправить его на самолете в Рим.

В половине второго ночи, то есть за полчаса до нападения Германии на СССР, немецкий посол в Италии фон Бисмарк поднял с постели министра иностранных дел Чиано с требованием немедленно вручить послание Гитлера находящемуся на курорте Муссолини.

Когда Чиано разбудил дуче междугородным телефонным звонком, сказав, что имеется послание Гитлера, тот раздраженно пробормотал, что даже своих слуг не будят среди ночи...

Однако Муссолини мигом забыл о сне, как только узнал от Чиано, о чем идет речь. И следующей его фразой был приказ немедленно подготовить декларацию о том, что Италия находится в состоянии войны с Россией...

Это было в те самые минуты, когда немецкая артиллерия уже открыла огонь по советской границе, а самолеты люфтваффе устремились с полной бомбовой нагрузкой к советским городам...

Миллионы людей в Германии и во всем мире, узнав о немецком нападении на Советский Союз, а затем слушая и читая победные сводки о продвижении танков Гудериана на восток, были уверены, что первой и главной целью Гитлера является Москва. Но это было верно лишь отчасти. Потому что, хотя захват Москвы и входил в первоочередной план Гитлера, его ближайшей целью был Ленинград.

Падению этого города Гитлер придавал огромное стратегическое и политическое значение. Ведь Ленинград был вторым по величине городом Советского Союза, крупнейшим железнодорожным узлом и важной военно-морской базой. Захватив Ленинград, Гитлер лишил бы советский военный флот его важных баз. В этом случае немецкие корабли и подводные лодки не только стали бы хозяевами Балтики, но и обеспечили бы надежные морские коммуникации со своими войсками на всем северо-западном стратегическом направлении. Наконец, падение Ленинграда означало бы для немецких войск соединение с войсками финскими.

Именно поэтому в приказе № 21 (вариант «Барбаросса») и в «Директиве по сосредоточению войск» (план «Барбаросса») овладение Ленинградом объявлялось «неотложной задачей». Ее предполагалось осуществить в максимально короткий срок путем мощного удара группы войск «Север» и наступления финских войск восточнее Ладожского озера.

Но было и другое, не упоминавшееся в документах, даже в сверхсекретных, и тем не менее нечто такое, что придавало задаче захвата Ленинграда особое, далеко выходящее за пределы чисто военных замыслов значение.

Этим «другим» была фанатическая ненависть Гитлера к городу на Неве.

Для такой ненависти у него было много причин. В самом факте возникновения Петербурга, этих ворот славянской России в Европу, Гитлер видел нечто кощунственно-противоестественное.

Ленинград был центром всех антиавторитарных восстаний. В его домах, на его улицах родились, выросли и сформировались как идеологи люди, с чьими именами связывались ненавистные Гитлеру идеи просветительства, демократизма и коммунизма в России. Именно там родилась Советская власть.

А то, что за все время существования Петербурга — Петрограда — Ленинграда на его территорию не ступала нога ни одного вражеского солдата, лишь разжигало военные вожделения Гитлера и придавало идее первоочередного захвата этого города еще и характер символический.

Из всех завоевателей прошлого Гитлер выделял собственную персону не только потому, что ему вообще было свойственно отдавать себе предпочтение при любом сопоставлении.

Он видел свою историческую исключительность в том, что поставил целью не только завоевание стран и народов, но сокрушение целой идеологии, владеющей умами миллионов людей. И слово «Ленинград» стало для него одним из синонимов этой идеологии.

Этот родившийся на таинственных, непроходимых болотах, точно плавающий в белых ночах город вызывал в Гитлере и страх и ненависть.

И он хотел уничтожить вторую советскую столицу еще в первые же недели войны. Не просто захватить, но уничтожить, стереть с географической карты, вернуть земле, на которой этот город расположен, ее первозданный вид, превратить в непроходимые болота, над которыми будут клубиться ядовитые испарения.

XI

На собрании ленинградского партактива, затянувшемся почти до двух часов ночи, было решено объявить завтра в десять часов утра воздушную тревогу. Об этом было немедленно передано в Радиокомитет и в районные штабы МПВО.

Тревога называлась учебной, предусмотренной графиком ПВО, но легко могла превратиться в боевую, если обстановка утром изменится.

Затем Васнецов объявил совещание оконченным, предупредил, чтобы начиная с этого часа у телефонов в райкомах партии и комсомола, а также в дирекциях предприятий круглосуточно находились дежурные, и снова углубился в лежащие перед ним бумаги.

Люди стали торопливо покидать кабинет.

Прошло несколько минут, и Васнецов услышал негромко произнесенные слова:

— Сергей Афанасьевич, хочу спросить тебя...

Васнецов, уверенный, что его кабинет уже пуст, вздрогнул от неожиданности, поднял голову и увидел Королева. Он стоял у стола, теребя в руках свою старенькую кепку.

— Слушаю тебя, Иван Максимович, — устало сказал Васнецов и кивнул на глубокое кожаное кресло, стоящее возле стола. Но Королев остался стоять.

— Где Андрей Александрович? — негромко спросил он.

Васнецов пристально посмотрел на него, потом опустил голову, как бы вновь погружаясь в бумаги, и, не глядя на Королева, ответил:

— В отпуске.

Прошло еще несколько мгновений. Васнецов поднял голову и увидел, что Королев попрежнему безмолвно стоит у стола.

— Ну, чего ты молчишь? — с неожиданным раздражением громко произнес Васнецов и рывком отодвинул от себя бумаги. — Хочешь спросить: почему в такое время... да? Так я тебе скажу: у него грудная жаба, ты знаешь, что это такое? Шкатулку палехскую у него на столе замечал? Думаешь, для украшения? Он там нитроглицерин держит. Не был в отпуске четыре года подряд и сейчас не хотел уезжать. При мне говорил по ВЧ, убеждал, что обстановка не позволяет...

— Ну... и что? — все так же негромко спросил Королев.

— Получил ответ, что идти в отпуск следует теперь. Дескать, вообще история свидетельствует, что если враг начинает войну, то обычно к осени, когда убран урожай. Следовательно, до конца июля может использовать отпуск... Не сомневаюсь, что при сложившейся обстановке он немедленно вернется, — добавил Васнецов после паузы. — Есть еще вопросы?

— Есть, — резко и требовательно сказал Королев.

Он сел, недовольно поморщился, когда мягкое сиденье глубоко опустилось, передвинулся на более жесткий край кресла и, в упор глядя на Васнецова, произнес только одно слово:

— Война?

Какое-то время Васнецов тоже глядел ему в глаза, потом опустил голову.

В первое мгновение он хотел сказать, что знает не больше того, что содержалось в только что оглашенной телеграмме, и что сейчас надо не гадать на кофейной гуще, а быстро проводить в жизнь намеченные оборонительные мероприятия... Хотел сказать, но не сказал.

Перед ним сидел один из старейших питерских рабочих, член партии с 1916 года, член парткома Кировского завода, член бюро райкома, бывший командир красногвардейского отряда, активный участник борьбы с зиновьевцами и троцкистами.

Этому человеку Васнецов не мог отвечать общими фразами. Не мог. Не имел права.

Но что же другое ответит ему он, Васнецов, один из секретарей горкома, всю возможную информацию особого, секретного характера получавший лишь через Жданова, которого вот уже несколько дней не было в городе?!

— Если то, что говорил этот майор, — правда... — начал было Королев, но Васнецов, инстинктивно ухватившийся за возможность уйти от мучивших его самого неразрешимых вопросов, прервал:

— Этот Звягинцев явно паникует. И кроме того, он превысил свои полномочия. Все-таки здесь присутствовали десятки людей. Командование поручило ему сделать самую общую информацию.

— То, что сказал Звягинцев, надо не десяткам — тысячам сказать! — прервал его Королев. — И чем быстрее, тем лучше! Ты что думаешь, Гитлер — это тебе Маннергейм?

— Не понимаю, Иван Максимович, — пожал плечами Васнецов, все еще инстинктивно делая попытки перевести разговор с главного пути на смежный, второстепенный, — почему ты решил, что мы не видим разницы? И в какой связи...

— А в той, — снова прервал его Королев, — что Маннергейма можно было войском придушить. А тут одним войском не обойдешься! Здесь в случае чего всю партию, весь народ надо поднимать. Весь народ, понял?

Наступило молчание. Его снова нарушил Королев.

— Слушай, товарищ секретарь, — сказал он, налегая грудью на край письменного стола, — я тебя еще комсомольцем знал. И речи твои не раз слыхал. И как ты Ленина Владимира Ильича цитировал, помню. Ну а я насчет цитат не силен, только самого его, Ленина, не один раз слышал. Так вот, когда мы Корнилова бить уходили, он нам напутственное слово держал. Я еще темный тогда был, глупый, потом уж поумнел малость, только три слова из всей его речи тогда запомнил. Хочешь, повторю? «Товарищи, республика в опасности!»

Он умолк.

— Я тебя понял, Максимыч, — тихо сказал Васнецов, — но мне кажется, что ты упускаешь из виду кое-что очень важное. Когда вы били Корнилова, в стране, по существу, не было армии. А сейчас она есть. Самая сильная в мире, Иван Максимович! И я убежден, если и впрямь суждено быть войне, то...

— Да не агитируй ты меня, Серега! Я в нашу армию не меньше твоего верю. Но ведь Гитлер-то не только армию нашу разбить желает. Он ведь народ, народ на колени поставить хочет, поставить, да так и оставить. На коленях!

— Но этому не бывать! — воскликнул, ударяя ладонью по столу, Васнецов, и его слова прозвучали звонко, непреднамеренно, совсем по-юношески, точно и не от разума, а из глубины сердца.

На мгновение добрая, почти ласковая улыбка появилась на сухощавом, морщинистом лице Королева, но тут же исчезла.

— Так вот, — точно не придавая значения восклицанию Васнецова и как бы продолжая прерванную мысль, сказал Королев, — если что — мы у себя на Кировском отряды создавать начнем. Об этом и хочу тебе заявить. Оружие будет?

— Погоди, погоди, Максимыч, — торопливо произнес Васнецов, — но войны ведь еще нет! И может быть, она и не начнется.

— А я первым в нее и не лезу. А если будет?

— Тогда партия даст все необходимые директивы!

— Партия? — громко и даже с какой-то угрозой в голосе повторил Королев. — А я, по-твоему, кто, беспартийный?

Он встал. Поднялся со своего места и Васнецов.

— Так вот, — сказал он решительно, — запомни. Если что — рабочие отряды. В армию возьмут тех, кто по всем статьям годен. А в отряды — одна статья годности: защищать страну хочешь? Оружие держать в силах? Вот тебе винтовка — иди!

И он рывком протянул Васнецову руку для прощания, но так, точно вручая ему винтовку.

...Оставшись один, Васнецов снял телефонную трубку и позвонил в штаб округа. Ему ответили, что пока все спокойно, никаких перемен. Тогда он снял трубку телефона ВЧ и позвонил в Москву. Москва ответила: «Пока ничего нового. Руководствоваться полученными директивами. Жданов на днях возвращается в Ленинград...»

...С этой минуты каждый час дежурный по горкому партии звонил оперативному дежурному штаба ЛВО.

Но ответы были стереотипными:

— Пока тихо...

«Пока тихо!» — примерно такой же ответ получали в ту ночь операторы Генштаба, связывавшиеся с штабами округов. «Пока тихо!» — докладывали они наркому обороны и начальнику Генштаба...

И они были правы. В те, самые последние часы на всей необъятной западной границе Советского Союза, от Баренцева до Черного моря, внезапно воцарилась странная, необычная тишина.

Еще днем на той стороне границы происходила какая-то лихорадочная деятельность. Гудели танковые моторы, взлетали и кружились над границей, часто пересекая ее, самолеты, с советских наблюдательных вышек можно было

даже без бинокля видеть интенсивное движение военных грузовиков на приграничных дорогах.

Но в ночь на 22 июня неожиданно все стихло. Никаких подозрительных шумов не фиксировали звукоулавливатели. Тщетно прислушивались пограничники. Радиооператоры, занятые перехватами переговоров немцев, пожимали плечами в ответ на вопросительные взгляды командиров и докладывали: «Молчат. Точно все вымерло».

И это была правда. Потому что, согласно приказу немецкого верховного командования, в ночь на 22 июня, до того момента, пока будет дан сигнал, всем полевым штабам, всем выдвинутым к границам и готовым для решающего прыжка войскам предлагалось прекратить всякое движение и хранить полную тишину.

Немецкие офицеры сидели в своих палатках или в штабных автобусах, склонясь над картами. Пользование телефонами было разрешено лишь в случае крайней необходимости. Мертвая тишина стояла в эфире...

Вернувшись в штаб округа, Звягинцев уже застал там большинство сотрудников своего отдела.

В коридорах было шумно от топота сапог по каменному полу и гула голосов, как бывало всегда за несколько минут до начала рабочего дня.

Прибывали все новые и новые командиры. На лицах входящих были написаны и тревога и удивление. Они торопились встретиться недоуменным взглядом с теми, кто пришел раньше, чтобы узнать, понять, что, собственно, случилось. Но и те, ранее прибывшие, еще ничего толком не знали. В ответ на вопросительные взгляды товарищей по службе они лишь разводили руками.

Не заходя в свое управление, Звягинцев, как ему и было приказано по телефону, направился к начальнику штаба.

Обычно подтянутый, даже элегантный генерал, которого Звягинцев не видел несколько недель, произвел на этот раз на него необычное впечатление.

При свете настольной лампы была хорошо видна щетинка на его несколько одутловатом лице, китель выглядел помятым, точно генералу довелось спать в нем не раздеваясь. Он сидел за письменным столом под портретами Сталина, Ворошилова и Тимошенко, погрузившись в чтение каких-то бумаг, на мгновение приподнял голову, когда Звягинцев стал докладывать о своем прибытии, и снова погрузился в чтение.

Окончив доклад, Звягинцев несколько секунд стоял молча, затем вполголоса спросил, какие будут приказания.

— Ждать, — не поднимая головы, коротко ответил генерал.

Звягинцев, все еще не двигаясь с места, недоуменно посмотрел на низко опущенную генеральскую голову и хотел было спросить, какие задания следует дать подчиненным, но в этот момент генерал буркнул:

— Не мешай. Иди к себе. Я сказал: ждать.

Звягинцев круто повернулся и вышел из кабинета. Но направился он не к себе, а в оперативное управление, в надежде что именно там, пользуясь личными знакомствами, узнает причину внезапного вызова.

Он уже готовился войти в обитую дерматином дверь, когда оттуда вышел полковник Королев. Увидя Звягинцева, он хмуро бросил ему:

— Явился? Почему не у себя в управлении?

Поддаваясь общей напряженно-тревожной обстановке, Звягинцев отрапортовал, что был у начальника штаба, никаких приказаний, кроме указания «ждать», не получил и теперь хотел...

— Произвести самостоятельный разведывательный поиск у оперативников? — не без иронии перебил его Королев.

Звягинцев молчал.

— Ладно, — сказал Королев, — идем ко мне. Пока что у меня к тебе вопрос есть.

Они вошли в накуренный кабинет полковника. Королев сел за стол, кивнул на стул, приглашая Звягинцева садиться, и сказал:

— Ты что там такое наговорил в Смольном?

«Ну вот, — подумал Звягинцев, — так и есть. Доложили».

Он подумал об этом без страха, без обиды, но с чувством какой-то безнадежной усталости.

— Я тебя, кажется, ясно спрашиваю? — снова заговорил, повышая голос, Королев. — Десять минут назад начальнику штаба звонили из Особого отдела. Говорят, что ты огласил там секретные данные — ну вот, всю эту петрушку с разведчиком. И вообще весь тон твоего сообщения был паническим. Хорошо, что попали на меня, а не на генерала. Тем не менее я должен ему доложить. Сам понимаешь, такими вещами не шутят. Ну, что скажешь?

— Докладывайте, товарищ полковник, — сухо и официально ответил Звягинцев.

— Ты меня не учи! — гаркнул Королев и ударил кулаком по столу. — Если бы не мое к тебе отношение, ты бы уже с генералом объяснялся! Ты понимаешь, что с тобой могут сделать под горячую руку и в такой момент?!

Он умолк, откинулся на спинку стула и некоторое время пристально глядел на Звягинцева.

Тот молчал.

— Значит, все правда, — сказал Королев и с досадой махнул рукой. — Я решил подождать, пока ты не явишься. Думал, что-нибудь скажешь в свое оправдание... Да что ты молчишь, как истукан?! — снова взорвался он. — Говори, наплели на тебя или все правда?

— Все правда, — равнодушно сказал Звягинцев.

— Черт знает что! — буркнул Королев, встал и несколько раз торопливо прошелся по кабинету. Потом остановился перед неподвижно сидящим Звягинцевым. — Но как ты... посмел? — снова заговорил он. — Нервы не выдержали? В панику ударился?

Звягинцев вскочил со стула. В эту минуту он ненавидел Королева. Ненавидел не потому, что боялся наказания. Нет, совсем другие мысли владели им сейчас...

— Товарищ Королев, — твердо произнес он, пожалуй, впервые называя его не по званию, не по имени-отчеству, — я коммунист. И меня послали говорить с коммунистами. И мой долг заключался в том, чтобы сказать им правду. И я не понимаю... как вы можете?.. А что, если... через несколько часов начнется война?!

Звягинцев стоял вытянувшись, казалось, что все его нервы, все мускулы напряжены до крайности, на лбу выступили капли пота. Он глядел на Королева в упор. Наступила тишина.

Королев как-то вяло махнул рукой и снова сделал несколько шагов по кабинету. Затем он вернулся к столу, сел, расстегнул воротничок гимнастерки, вытащил носовой платок и вытер им свою короткую, жилистую шею.

— Ладно, — произнес он наконец, — будем считать, что особисты перегнули. До утра генералу докладывать подожду. Сядь, не на смотру стоишь...

Звягинцев сел. И опять ощутил огромную усталость. Он не чувствовал облегчения от сознания, что отодвинулась лично ему грозящая опасность. Он сейчас не думал об этом.

— Иди к себе, жди, — вполголоса сказал Королев.

— Нет, — покачал головой Звягинцев, — я хочу спросить...

— Чего еще спросить? — недовольно произнес Королев.

— Прежде всего, Павел Максимович, — уже менее официально сказал Звягинцев, — не могу ли я узнать конкретную причину общей тревоги? Что-нибудь случилось?

— Дальше.

— Ну... что означает эта неопределенная команда «ждать»?

— И еще?

— Опять все то же, Павел Максимович. Извини, но у меня такое впечатление, что на границе что-то произошло, но от нас скрывают.

— Ясно, — усмехнулся Королев, — отвечаю по пунктам. Причина тревоги тебе известна — содержание телеграммы наркома ты узнал от меня еще днем: «Возможны провокации». Это первое. Ждать тебе приказано потому, что всю необходимую работу по плану ты проделал еще днем. Ну а насчет третьего твоего вопроса могу тебе ответить, что на границе все спокойно.

— Спокойно? — недоуменно повторил Звягинцев.

— Да, да, спокойно, мать их... — неожиданно громко выругался Королев, — первый раз, первую ночь за целый месяц спокойно! Тихо! Точно все передохли.

Он вскочил с кресла и стал торопливо шагать по комнате.

— Что у них там происходит, хотел бы я знать!.. — тихо, будто про себя, пробормотал Королев.

...Но никто в штабе Ленинградского военного округа не знал и не мог знать, что в этот момент, в три часа двадцать минут утра по московскому и в час двадцать по среднеевропейскому времени, происходило по ту сторону внезапно затихшей, точно вымершей советско-финской границы. И в других военных округах не знали и не могли знать, что делают в эти минуты немцы.

Но факт оставался фактом — на той стороне царила мертвая тишина. Казалось, спали леса. Безлюдны были поля. Медленно полз по брестскому железнодорожному мосту, пересекая советско-германскую границу, поезд с продовольствием и минеральным сырьем, отправляемыми в Германию согласно договору. Два таможенных чиновника на ходу вскочили в поезд. Все как обычно. Но в эти минуты в палатке оперативных работников штаба немецкой армейской группы «Центр» раздался телефонный звонок — первый за долгие часы, и начальник оперативного отдела 24-го армейского корпуса доложил, что «с мостом все в порядке».

Не было сделано никаких комментариев, не было произнесено никаких поясняющих слов. Но говорившие по телефону знали, что речь идет о мосте, по которому танки Гудериана менее чем через час ринутся через Буг на Брест.

Шли минуты. На всех тщательно сверенных часах немецких штабных офицеров стрелки подходили к двум часам ночи по среднеевропейскому времени.

Внезапно гигантское пламя разорвало предутренние сумерки. Немецкие орудия всех калибров одновременно от Баренцева до Черного моря открыли огонь по советской территории.

Война началась.

XII

Когда на рассвете 22 июня 1941 года около двухсот немецко-фашистских дивизий — пехотных, моторизованных, танковых, авиационных, объединенных для вторжения в корпуса, армии и группы армий, упоенные молниеносными победами на Западе, оснащенные новейшим вооружением, которое дни и ночи ковалось для них на заводах покоренной Европы, распаленные ожиданием богатейшей добычи, освобожденные Гитлером от контроля совести, которую он называл химерой, — когда эти миллионы

солдат, руководимые десятками тысяч офицеров и многими сотнями генералов, ринулись на пограничные, предварительно пропаханные артиллерийскими снарядами и фугасными бомбами районы Советского Союза, — в то страшное, темное от дыма и земляных смерчей, пахнущее гарью, полыхающее отблеском пожаров утро вряд ли кто в нашей стране полностью представлял себе дальнейший ход событий и размеры нависшей опасности.

Пройдут еще годы, и прольются реки крови, и двадцать миллионов советских воинов лягут мертвыми в землю их отцов и дедов, для того чтобы миллионы других людей — их братьев смогли погнать ненавистного врага и наконец настигнуть его в самом волчьем логове, — прежде чем всему миру станут известными два слова: «План «Барбаросса», и то, что крылось за этими словами.

Но в то горькое утро никто в Советском Союзе подробностей этого плана не знал. Не знали и не могли знать о них и те люди — военные и гражданские, — на которых было возложено руководство частями и подразделениями Прибалтийского и Ленинградского военных округов и многими тысячами коммунистов города, носящего имя Ленина.

Пройдут дни, бесконечные, как годы, прежде чем смертельная угроза полностью будет осознана и они узнают, что семьсот тысяч немецких солдат и офицеров, тысяча пятьсот танков и тысяча двести самолетов устремились на северо-запад страны, имея перед собой главную цель — с ходу сокрушить Ленинград, а двенадцать тысяч орудий и минометов готовы своим пагубным огнем стереть его с лица земли.

Но в то раннее июньское утро и эти цифры, и эта цель были еще никому, кроме немцев, не известны.

Не знали их и руководители партийной организации города, в том числе и один из секретарей горкома, Сергей Афанасьевич Васнецов.

Этому человеку еще не исполнилось и сорока лет. Он был до болезненности худ, прямой, острый нос и резко выдающиеся скулы придавали его лицу выражение строгости и замкнутости.

Бывший секретарь одного из окружкомов комсомола, он вступил в партию девятнадцатилетним юношей, в конце двадцатых годов был взят на работу в Ленинградский губком инструктором, затем избран секретарем одного из городских райкомов партии, а через год снова вернулся в Смольный, но уже в качестве одного из секретарей горкома партии. На этом посту и застала его война.

Многие из тех, кому приходилось работать с Васнецовым, называли его «человек-пружина»: он обладал огромной энергией и неистощимым запасом сил.

Люди удивлялись, как этот аскетической внешности, изможденный на вид человек способен не спать напролет ночи, в течение одних и тех же суток появляться в самых различных и удаленных друг от друга местах — на заводах, в учебных заведениях, в воинских частях, на кораблях.

Как правило, Васнецов был тем спокойнее, тем ровнее в обращении с людьми, чем более напряженной была ситуация, и многим казалось, что он копирует Жданова. Но если Жданов вообще никогда не повышал голоса (и те, кто знал его, были уверены, что тут он подражает Сталину), то Васнецов иногда все же «взрывался» — сказывалась комсомольская закваска — и в этих случаях становился до крайности резким, казалось, даже жестоким. Однако это только казалось, потому что жестоким Васнецов не был никогда. Просто, подобно многим другим воспитанным в те годы партией людям, он не признавал никаких компромиссов, когда речь шла об отношении к делу. И любое противоречие, возникающее между интересами дела и поведением человека, решал в пользу первого.

Дисциплину, способность человека выполнить поручение, чего бы это ему ни стоило, Васнецов ценил наряду с такими важнейшими людскими качествами, как честность, преданность партии, готовность отдавать ей всего себя, без остатка.

Поэтому когда в половине пятого утра в кабинете Васнецова, который он так и не покидал после того, как закончилось заседание партийного актива, раздался телефонный звонок и начальник штаба округа сообщил, что немцы бомбят наши города, в том числе и близкие к Ленинграду столицы Прибалтийских республик, первый вопрос Васнецова был: «Какие получены указания?»

Не скрывая своего волнения, торопливо, но одновременно как-то нерешительно начштаба ответил, что получен приказ наркома дать отпор врагу, выбросить его с территории, на которую он проник, но границу не переходить.

Васнецов спросил, где командующий, получил ответ, что тот должен с часу на час прибыть с учений на Севере, и повесил трубку.

Перед мысленным взором Васнецова возникла вся широко разветвленная сеть городской партийной организации — бюро горкома, райкомы, заводские партийные комитеты, сотни первичных партийных коллективов, их руководители, и он испытал минутное чувство удовлетворения от сознания, что все они находятся в боевой готовности и ждут указаний.

Он нажал кнопку звонка и поручил появившемуся помощнику — молодому, чуть прихрамывающему после ранения, полученного в войне с финнами, человеку немедленно оповестить всех членов бюро горкома и попросить их приехать в Смольный через тридцать минут.

Потом он посмотрел на висящие на стене часы, автоматически засек время, и в тот же момент тревожное беспокойство охватило его.

Васнецов подумал о том, что, поскольку нет Жданова, руководить заседанием бюро придется ему и, таким образом, именно на него в первую очередь ложится ответственность за все решения, которые предстоит принять.

Разумеется, Васнецов знал, что надо делать в первую очередь, — все надлежащие меры на тот случай, если обстановка обострится, были предусмотрены не только на недавно закончившемся собрании партактива, но и гораздо раньше: приведение в боевую готовность средств противовоздушной обороны, круглосуточные дежурства партийных руководителей — до парткомов на крупнейших предприятиях включительно, мероприятия по линии органов государственной безопасности и многие другие.

И тем не менее сознание, что всего намеченного будет недостаточно, что теперь, когда опасность, нависщая над страной, перестала быть лишь теоретической возможностью, а стала страшной явью, надо принять какие-то новые, важные, не предусмотренные в мирное время действия, — сознание этого постепенно полностью овладело мыслями Васнецова. И теперь он пытался предугадать, понять, что же необходимо предпринять еще, и, сам того не замечая, погрузился в тяжелое раздумье.

(Окончание следует)

Александр Борисович Чаковский
БЛОКАДА

Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ Редактор Б. ФИЛЕВ
Художественный редактор *Г. Масляненко* Технический редактор *Л. Платонова*
Корректоры *Г. Асланянц* и *Н. Гористова*
Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 21/III 1969 г. Подписано к печати 29/IV 1969 г. А06053. Формат 84×108 1/16 — 5 печ. л. 8,4 усл. печ. л. 10,54 уч.-изд. л. Заказ 452. Тираж 2 600 000, 1-й завод: 1—1 300 000 экз. Цена 21 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР
г. Ленинград, Гатчинская ул., 26
Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати № 1. Кронверкская, 7